

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗДА



1978-9

В конце октября в Грузии будут проходить Дни советской литературы. Это деловая, творческая встреча писателей и это, вместе с тем, большой праздник многонациональной советской литературы эпохи развитого социализма.

«Литературная Грузия» очередной свой номер посвящает этому славному событию и под своей, ставшей уже традиционной, рубрикой «Свидетельствует вещий знак» публикует новые произведения своих русских друзей — и давних, испытанных наших товарищей, и молодых, можно сказать дебютантов, с тем чтобы в дальнейшем читатель увидел и подборки, отражающие новь других братских литератур.

Добро пожаловать, дорогие друзья, к нам в Грузию, в нашу писательскую семью!

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1978

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. «Свидетельствует вещий знак...»	3
ТИНА КОБАЛАДЗЕ. Мост дружбы.	8
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО	11
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА	16
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ	24
ЯН ГОЛЬЦМАН	29
ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. С мужеством и правдою в груди	34
ЮННА МОРИЦ	48
ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ	50
ЛЕОНИД ТЕМИН	54
ЕКАТЕРИНА КВИТНИЦКАЯ	55
ВИКТОР ШИРОКОВ	63
КАМИЛЛА КОРИНТЭЛИ	67

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Гиви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТКИН, Исидор КОЗАЕВ, Георгий ЛОМИДЗЕ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Эммануил ФЕЙГИН, Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

„ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

ბათუმის 1957 წლის ივნისიდან. № 9 სექტემბერი, 1978 წ.

ВАЛЕРИЙ КРАСКО	70
ЕЛЕНА БЫКОВА. Вулкан Тятя.	74
МАРИНА КУДИМОВА	81
ПАВЕЛ НЕРЛЕР	85
НАТАЛЬЯ ГЕНИНА	87
ИВ ОГАНОВ. Павана мавра	90
ВЕРА КОСТЫЛЕВА	95
ВЕРОНИКА АФАНАСЬЕВА	98
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. Толстой на Кавказе	99
С. В. БЕЛОВ. К. Бальмонт о Достоевском	105
ЛЕВ ОЗЕРОВ. Напоминание о поэте	112
КЛАРА АРСЕНЕВА	114
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЕВСКИЙ	118
НОННА ЭЛИЗБАРАШВИЛИ. С. М. Городецкий — художественный критик	125
АРЧИЛ МШВЕЛИДЗЕ. Служитель музыки	134
РАМАЗ КОБИДЗЕ. Листья папоротника. Роман. Продолжение	142
АННОТАЦИИ «Литературной Грузии»	158
ХРОНИКА	159

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

„Свидетельствует вещий знак...“

Вещий знак продолжает свидетельствовать все о том же — о содружестве поэтов, литератур и культур, о содружестве, ставшем естественным и уже закономерным воплощением процесса собственно творческого, универсальная многоликость которого не переходит в размытую безликость благодаря извечной и вековечной закваске индивидуально-поэтического и национально-самобытного начал любого художественного творчества...

Читателя, разумеется, не удивит новая встреча с уже хорошо ему знакомыми по нашим же предыдущим подборкам именами и фигурами: ведь одно из главных свойств дружеской привязанности — ее постоянство; новые же друзья не вытесняют старых, а с доверием принимаются в их семью. Поэтому, не повторяя наших прежних любовных рекомендаций и напутствий относительно знакомых уже читателю поэтов, мы включаем в нашу подборку лишь несколько наших кратких критических очерков об Евтушенко, Ахмадулиной, Леоновиче, соотносимых не с их стихами, входящими в эту подборку, а самостоятельных, автономных, вернее, связанных с книгами, которые подготовлены к изданию и в скором времени будут получены читателем («Тяжелее земли» Евгения Евтушенко, второе, дополненное и расширенное издание «Снов о Грузии» Беллы Ахмадулиной, книга переводов Владимира Леоновича из Галактиона Табидзе). Мы не выдадим секрета, если скажем, что эти три микроочерка легли в основу предисловий, которыми сопровождаются вышеназванные четыре книги, выходящие в издательстве «Мерани» (два из них — книга Е. Евтушенко, переводы В. Леоновича подготовлены Главной редакционной коллегией по переводам и литературным взаимосвязям). Точно так же Лев Озеров освещает нам «грузинскую главу» в творческом наследии Клары Арсеновой — одной из немногих, кстати, переводчиц Галактиона Табидзе, чьи добрые переводы вы-

держали испытание временем и украсили недавнее юбилейное издание галактионовских стихотворений.

Как-то Леонид Мартынов, призывая вспомнить забытых поэтов, восклицал: «...Было бы не только несправедливо, но и попросту неумно забывать о многосложности этих явлений, ограничиваясь только, так сказать, хрестоматийным их отбором. Многие пропало из виду, забыто, и забыто не в переносном, а в прямом смысле этого грустного слова. Но все-таки я позволяю себе, как Кювье костью, помахивать какой-нибудь стихотворной строфой, если не строчкой, надеясь восстановить в читательском воображении более или менее целостный облик воссоздаваемого мною чудесного существа».

Понятно, что с еще большей силой испытываем мы те же чувства, когда забытыми или тем более неопубликованными оказываются сочинения таких выдающихся представителей русской поэзии, русской культуры, как, например, Константин Бальмонт, навеки, к тому же, связанный в нашем восприятии с Грузией — через его перевод «Витязя в барсовой коже». У нас уже установилась прочная традиция различного рода бальмонтских публикаций. Начать с того, что в Грузии вообще никогда не омрачалась слава Бальмонта тенью поверхностных, конъюнктурных, инерцией литературных перепадок рубежа двух эпох порожденных суждений о нем, и Бальмонт для его друзей и почитателей никогда не был равнозначен «бальмонтвщине» (так же, как, скажем, Есенин — «есенинщине»). Тут, возможно, нам помогала историко-культурная и литературно-бытовая дистанция. А публикации, комментарии, освещение и мемуарные очерки Нины Константиновны Бальмонт-Бруни, а также работы Лии Андгуладзе не дали даже беспощадному времени заслонить или отодвинуть имя, облик и поэтическую доблесть Бальмонта.

А вот и заметки Виктора Борисовича Шкловского — «Толстой на Кавказе». Откликаясь на нынешний юбилей Льва Толстого, они дают нам возможность перелистать кавказские страницы жизни великого писателя земли русской — с мудрой и проницательной помощью столь дорогого и близкого нам замечательного нашего современника, грузинские штудии которого еще ждут своего пытливого и восхищенного исследователя, а духовный опыт, всеохватывающие познания, творческая и творящая память которого в такой мере аккумуляровались в себе культуру нашей эпохи, как разве лишь считанным и избранным единицам удалось это сделать среди здравствующих старших наших современников — Мариэтте Шагинян, Николаю Тихонову, Миколу Бажану, Павлу Антокольскому, Ираклию Андроникову, Леониду Мартынову, Валентину Катаеву, а чуть ближе к нам — Владимиру Орлову, Борису Бурсову, Даниилу Гранину, Акакию Гацерелия — ну еще — раз-два и обчелся, если ограничиться собственно писательской семьей.

Кстати, наш номер открывается письмами Николая Семеновича Тихонова Георгию Леонидзе — одно из самых пронзительных свидетельств дружбы двух больших поэтов, дружбы, ставшей символической в масштабе целой культурной полосы в жизни советской литературы.

Если вернуться к живому литературному потоку, то мы даем читателю возможность закрепить свое знакомство, как мы уже сказали, с Владимиром Леоновичем и Яном Гольцманом, Мариной Кудимовой и Натальей Гениной, Леонидом Темным, Ильей Дадашидзе и Камиллой Коринтэли, не говоря уже о новых стихах Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко и Юнны Мориц, атлетический стих и суровый талант которой повернулись к нам на этот раз улыбочивым своим ликом, мнущая и сциллу юнониной — точнее, Геры — гневливости, и харибду самообжигающей иронии, еле прикрываемой ревнивыми выпадами вовне.

А вот и новые для большинства наших читателей поэтические имена: Екатерина Квитницкая, Вера Костылева, Виктор Широков, Павел Нерлер, Валерий Краско (его читатель знает, преимущественно, как переводчика грузинских поэтов), Наталья Орлова, Вероника Афанасьева.

Читатель, думается, обратит внимание на новые — задорно-бесшабашные, иронически-игровые грани таланта Марины Кудимовой, столь явные в ее «Веселых» — в этом «закулисном цикле» — как она прокламирует его в подзаголовке. Конечно, эти ликующие стихи не без горчинки...

Заметит он и мужающую зрелость строгих, сдержанных, я бы сказал, аскетически-душевных стихов Гениной, не склонных к огривенной лирической исповедальности, но напряжением своего лиризма свидетельствующих о подспудье скрытых страстей и борений.

Увидит читатель и прозрачное, незамутненное течение стиха Натальи Орловой, отражающее ее душевный лад и цельность лирического мировосприятия.

Виктор Широков знаком нам и по его поэтическому дебюту на страницах всесоюзной прессы, и умными, культурными, в самом точном смысле этого слова, статьями и рецензиями. С Грузией его поначалу сблизила первая профессия (врач-офтальмолог), когда он находился в Тбилиси на курсах усовершенствования врачей. Тогда и закрепился его первоначальный интерес к далекой дотоле Грузии и грузинской поэзии. Теперь этот интерес стал кристаллизоваться в формах поэтических. Но самые сильные его стихи пока что на темы, так сказать, не заданные, не извне, хотя и с искренней радостью воспринятые, а в его же душе самопроизвольно зазвучавшие.

Вера Костылева — если можно так сказать — феномен, еще не до конца явившийся или, скажем, проявившийся — да простится мне этот парадокс; но явная внутренняя, стихийная одаренность поэтессы, не получившая достаточного подспорья школы, мастерства, даже чисто версификационного ремесленного умения, воплощается в стихе порою косноязычно и хаотично, с затруднением продираясь сквозь препятствия, которые ставят любой поэтической речи законы языка и нормы стиля. Но важно отметить, что часто этот конфликт, это противоборство внутренней сильной поэтической речи с ее сбывающейся плотью — преднамеренны, сознательны, нарочиты, явлены как поиск «несказанных и нескáзанных» слов, и здесь она во многом действует с оглядкой на муки слова, испытанные в свое

время ее поэтическим кумиром Мариной Цветаевой... Легче всего было придержать еще на какое-то время стихи Веры Костылевой, воздержаться от их публикации, но мы, в «Литературной Грузии», давно следя за ее битвой со словом в поисках самовыражения, поняли, что настала пора, когда лишь увиденное автором со стороны, на время как бы от нее отчужденное ее же слово обретет, наконец, ту силу, которая, возможно, и выведет его к обетованному берегу поэтической гармонии.

Павел Нерлер. Литературная оснащенность и искусственность интеллигента в его стихах настолько равновесна с собственнопоэтическими достоинствами, что не только нам, читателям, но и ему, автору стихов, еще предстоит, по-видимому, решать, какой из муз посвятить окончательно свой талант. Не Клио ли? Но так же, как в случае с Верой Костылевой, говоря об относительной неорганизованности ее формы, мы не затрагиваем несомненной сути ее поэтического дара, так и здесь, парнасски отточенная архитектоника стиха Павла Нерлера не то чтобы возмещает отсутствие иных, богом данных начал, а скорее всего совмещается с ними, лишь «откладывая» на время окончательное решение вопроса — быть или не быть ему служителем Евтерпы...

А вот Валерий Краско и Екатерина Квитницкая явлены как поэты с такой несомненностью, что какое бы иное поприще они себе ни выбрали, им от поэзии не уйти — она сама их не отпустит. Гармония и естественность поэтического речения (а не только мышления) здесь торжествуют с такой явственностью и самоутверждающей силой, что нам остается лишь гадать о судьбе поэта, о пути поэта, о движении и мужании поэтического дара в водовороте живой жизни — не более. Краско и Квитницкую роднит тонкая самоирония, хотя в остальном это совершенно несхожие поэты. Обближает их и органично вписавшаяся в их поэзию грузинская тема, даже не тема, а чувство Грузии (что встречается реже, чем первое).

Валерий Краско — москвич, частый гость Грузии и поэт, давно уже связанный с нами профессиональным переводческим трудом. Хотя нам кажется, что талант его с большей свободой сказался пока в его оригинальном творчестве.

Екатерина Квитницкая — киевлянка. Ее первые грузинские читатели, оценившие ее дар, — инженер Отар Гвахария и поэт Арчил Сулакаури. Им мы и обязаны радостным знакомством со стихами Квитницкой. По образованию она филолог — специалист по романским языкам, редактор изданий на французском языке в издательстве «Днипро». Печаталась в журнале «Радуга», но ее большой выход на поэтическую авансцену мы по праву можем исчислять по ее тбилисской премьере.

Проза представлена у нас двумя рассказами. Елена Быкова знакома нам и как автор стихов — Майя Луговская. С Грузией ее связывают не только заветы Владимира Луговского, но и собственной душевной и сердечной ценой оплаченная дружба. Достаточно напомнить о тесных узах, связывающих ее с крутом Симона Чиковани, о ее вкладе в дело подготовки и издания в Москве последнего посмертного сборника Чиковани. В рассказах Елены Быковой — так она подписывает свою

прозу — бросается в глаза крепкая хватка, прочнейше связующая в единый узел характер и ситуацию. Сильный женский характер — вот что истинно удается ей, пренебрегающей внешней пластикой и живописью во имя стремительного саморазвития, самораскрытия, самоутверждения натуры своего героя, вернее, героини. (Герои как раз, согласно заданной структуре этих рассказов, как правило, пассивны). Я до сих пор с удовольствием вспоминаю читанный давно рассказ Елены Быковой «Остаточные деформации», где воистину торжествовала гармония, триединство, даже «диффузия» сюжетно-ситуационного потока, фабульной плоти и тончайшей психологической вибрации душ. Такая же художественная нацеленность присуща и рассказу «Вулкан Тятя», который мы предлагаем вниманию читателя.

Ив Оганов. Уроженец Тбилиси. Москвич. Филолог-полиглот, самозабвенно отдавшийся литературе и очень много, очень интересно пишущий. Он испытал, своего рода, «избирательное сродство» с такими разными началами, как Пруст, Кафка, Платонов, Олеша, Пиросмани. (Есть у него даже повесть о Пиросмани). Говорить о нем трудно — он сам автор не из легких. Я обязательно о нем позже напишу, а здесь сошлюсь на отклик одного из самых авторитетных для меня и любимых ценителей литературы и искусства Инны Соловьевой: «Дарование его очерчено резко и, по-видимому, дарование это незаурядно; то состояние, в которое Оганов хочет привести своего читателя, живет в нас долго; отделаться от нестерпимого страдания, выны и боли, которые оставляют новеллы «Павана мавра», «Собаки нашей осени» и «Царь и кошатница», удается не скоро... Эта властная возбудительная соединяется с тем, что внутри отдельной фразы автор почти вызывающе создает ощущение невяжности, а в пределах общего движения сюжета нагнетает алогичность... Это, разумеется, связано с выбором персонажа или персонажей, через которых автор показывает мир... Стоило бы приглядеться и к словесному мастерству автора. Рассматриваемая вблизи, фраза его кажется манерной и отталкивающей... Но если преодолеть это чувство, то кое-что откроется. Оганов словно бы использует опыт живописи, где зелень можно писать не зеленою краской... Такую прозу трудно читать «вблизи», как трудно вблизи рассматривать поверхность живописного полотна — ничего не поймешь, одни мазки; отойдя же, можно увидеть если не нечто гармоническое, то все же нечто последовательное и цельное... Талантливо, но очень мучительно, «без разрешения», не отпускает... Впрочем, ведь и иначе тоже можно сказать: мучительно, безвыходно, резко, но ведь — талантливо...».

Вот, пожалуй, весь круг произведений разных жанров, освоенных на этот раз нашим Вещим знаком. Как мы уже сказали, публикация наша будет дополнена тремя моими небольшими очерками — о Евтушенко, Ахмадулиной, Леоновиче. Этот своего рода критический тетраптих помещен вслед за подборками стихов этих четырех поэтов.



МОСТ ДРУЖБЫ

Перед нами несколько писем личного характера, которые в разное время были адресованы Николаем Тихоновым Георгию Леонидзе.

Многое сказано и написано о творческих связях и дружбе этих двух больших поэтов. Многое, очевидно, еще будет сказано и написано. Эти же письма, пронизанные поэтическим дыханием и настроением, вполне заслуживают обнародования.

Это — те же стихи, только более интимные, но от этого не менее интересные и прекрасные.

Мы предлагаем два из них. Одно — датировано 1957 годом. Именно в этом году вышел первый номер «Литературной Грузии».

Дорогой друг Гогла!

Спасибо тебе большое за первомайское поздравление. А я впал в такое ничтожество, что не смог тебе послать поздравление. Я лежал в гриппу с таким осложнением, что не смог взять перо в руки.

Я получил известие, что в Тбилиси будет выходить журнал «Литературная Грузия» и туда просят меня написать.

Приветствуя такое начинание, я вспомнил, что у меня есть несколько начатых и незаконченных рассказов на грузинские темы. Мне так захотелось присутствовать среди друзей в этом журнале, что я, сидя несколько ночей, привел в порядок один небольшой рассказ, биографического характера. Я его доработал, назвал «Цхнетские вечера» и послал в журнал.

Я получил, к своей радости, уведомление, что рассказ будут печатать.

А знаешь, о чем я там пишу. О том чудесном, вдохновенном, легком и прекрасном времени, когда мы с тобой, уединившись в Цхнети, писали с утра до вечера, а вечером гуляли по поляне, и внизу переливался золотыми огнями Тбилиси.

Какие это были незабываемые дни и вечера, последние дни и вечера. Потом почтальон, помнишь, принес нам фантастическую новость, что «всюду война». И он был прав.

Но все войны прошли, а сладость цхнетских вечеров еще сегодня ощущается. И я, вспоминая могучего, как дуб, веселого, как Вакх, и желанного, как десять поэтов, Гоглу, не могу отделить его от чудесной прелести того цхнетского мира.

Воспоминания нахлынули на меня, и я, чтобы отдать им должное, написал этот рассказ, где мы с тобой — действующие лица.

Я очень хочу всего: и быть в Тбилиси, и видеть старых друзей, и почувствовать славного Илью, и посмотреть Грузию.

А может, это все и удастся... Как знать!

Привет тебе сердечный. Я и Мария Константиновна обнимаем тебя и Пепико и вспоминаем, как ты сидел светлый и мудрый у нас на балконе.

Привет тбилиским друзьям.

Н. Тихонов.
1957 год. Москва.

Милый, замечательный друг,
дорогой Гогла!

4 августа мы обсуждали в Союзе писателей юбилей Руставели, как его лучше провести — в Тбилиси или в Москве. Я невольно вспомнил те зимние дни, когда, собравшись в Тбилиси, отмечали впервые поэтический праздник великого поэта.

И сейчас передо мной стоит картина тех незабываемых дней, да не только тех, а всех моих последних приездов и всех счастливых встреч с тобой и в шумном кругу друзей, когда ты показывал свои чудесные знания истории Грузии и читал твои великолепные стихи, которые звенели, как водопады горных круч, освещенные радугой.

Недавно я снова прикоснулся к источнику твоего вдохновения. Я переводил твои стихи и радовался, что вижу рядом перед собой тебя, могучего стихового жреца, верховного жреца поэзии во всем блеске своего роскошного раскрытия мира.

Особенно поразили меня своей силой такие стихи, как «Стих мой — это дело моей жизни», «Ты и Светицховели», «Тот, кто сложил первый грузинский стих» и другие.

Я перенесся мысленно в Цхнети на твою террасу, с которой так широк вид, я говорил с тобой и обнимал старого друга, и природа родного Цхнети благоухала всеми ароматами и цветами, всеми красками.

Я еще раз почувствовал, вместе с приближением знойной осени, какие времена года мы пережили вместе, как ты дорог всей поэзии, нашему народу и друзьям — тем, как ты силен в своей преображающей силе и как ты любишь жизнь широкой благодарной щедрой любовью!

Все это — правда! Сколько звучных строк звучало произнесенных твоим львиным голосом и в дни счастья, и в дни тягостных испытаний.

Когда на собрании о Руставели заговорили о том, как будет в Грузии происходить соревнование поэтов, — невольно мне захотелось встречи и начать читать твои стихи — это было бы добрым ответом на вопрос о соревновании.

Все наши, во главе с Марией Константиновной, обнимают тебя и Пепико, и дочек, и весь род твой, да расцветает он на благословенной земле прекрасной Грузии!

Мне писала Ида Беставашвили, что читала тебе мои переводы!

Еще раз обнимаю тебя, молучий, прекрасный поэт и друг, дорогой наш любимый Гогла! Лето входит в самый пышный цвет, луг — тоже. Вдохновение — тоже.

Твой всегда Николай.

Это письмо не нуждается в комментариях. Добавим только одно: оно датировано 6 августа 1966 года. 9 августа Георгия Леонидзе не стало. Николай Тихонов знал, что дни поэта сочтены и обратился к нему с ободряющим словом — он писал о его любимой родине, о бессмертии поэзии. Это единственное письмо, не прочтенное Георгием Леонидзе.

Мы располагаем также небольшим воспоминанием Г. Леонидзе о Н. Тихонове. Запись этого воспоминания хранится в золотом фонде Грузинского радио. Поэт читает (на русском языке) строфы из стихотворения Н. Тихонова «Радуга в Сагурамо» и рассказывает историю его создания. Воспоминание это включено Георгием Леонидзе и в свою известную «Автобиографию», но мы его воспроизводим как естественное добавление к сказанному.

Георгий Леонидзе: — Поздней осенью я пригласил Николая Семеновича и его жену Марию Константиновну в Сагурамо; стоя на балконе дома-музея Ильи Чавчавадзе, мы вели разговор о поэзии. Вдруг я заметил радугу, появившуюся над Ерцойскими горами, и шутливо обратился к ним: «Вот я как гостеприимный хозяин организовал вам радугу». Это как раз было в октябре месяце.

Позднее я прочел изумительное стихотворение Тихонова «Радуга в Сагурамо».

Она стояла в двух шагах,
Та радуга двойная,
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.
И золотистый дождь кипел
Среди листвы багряной,
И каждый лист дрожал и пел
От слез веселых пьяный.
И этот свет все рос и рос,
Был радугой украшен,
От сердца к сердцу строя мост
Великой дружбы нашей.

Вот Николай Тихонов — строитель этого моста от сердца к сердцу. Он нам старый друг, а старая дружба крепка, как старое вино; и крепка, и ароматна, и полезна.

Комментарии и публикация
Тины КОБАЛАДЗЕ.



Президент к Давиду Кипиани подошел и начал излиянье:
«Мистер Кипиани, вы звезда...
Думают прекрасно ваши ноги.
Велики ли в Грузии налоги?
Вы не пьете? Это что, всегда?».
Президент был футболистом бывшим и поляком бывшим, не забывшим уездной шляхетской гонорок.
Говоря о спорте, о талантах, сделал он манжетой в брильянтах в свой карман обдуманый нырок.
«Вас игра, как вижу, утомила?
Но ведь вы борец за дело мира — вы ногами боретесь за мир.
А с валютой как у вас — не тяжело?
Вот пятифунтовая бумажка.
Это от меня — как сувенир...»
Кипиани —

вроде против правил —
взял бумажку,
медленно расправил,
посмотрел с улыбкою на свет
и сказал без чувства злости,
мести:

«Водяные знаки все на месте,
а вот знака дружбы что-то нет.
В Грузии мы с дружеским значеньем дарим все гостям,
за исключением матерей, отцов, детей и жен.
А вот деньги дарим лишь на свадьбы...
Я —
как это вежливей сказать бы? — сувениром вашим поражен.
Взятка?»

Но я должен вам признаться —
есть у нас товарищ Шеварднадзе —
он ведет со взятками борьбу.
Если бы он к вам приехал в Кардифф,
взяточников местных проинфарктив, —
вылететь бы вам пришлось в трубу!
Чтобы оплатить вам часть восторгов,
на бумажке ставлю свой автограф.
Возвращаю. Пейте лучше джин.
Что-то, я гляжу, вам неуютно?
У грузин есть твердая валюта —
гордость неразменная грузин». —
Так я видел под рукоплесканья
лучший гол, забитый Кипиани
головой в шапке у стола.
Гол был самый чистый, без изъяна.
Помогла, как видно, шапка свана,
кисточка, как видно, помогла...



ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
ту, которую он почему-то считает своею,
и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.
Выдох легких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.
Дай уста отомкнуть не для пенья, а для ротозейства».

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем, это — ложь и притворство влюбленной звезды.
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!»
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
Еще рань и февраль, а природа цвести притерпелась.
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южней его бег, тем мимоза темней и лысей.
Там, где брег и лазурь непомерны, как бред и бравада,
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
он целует, их слух повергая в восторженный ужас
тем, что есть его речь, содержанье и образ судьбы,
так же просто, как свет для свечи — и занятие, и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик, будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт: если глянет сильнее — невинную жизнь опалит, и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд, чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? — и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд, — (благоденствуйте, дескать) — хоть вовремя, но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым. Это так же удобно, как если бы чертополох вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны, он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность. Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды, с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух. Озирает прохожих и втайне печется о каждом. Словно в этом его путешествия смысл и триумф, он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

О, гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немыслимой отлучке
я ныне пребываю — лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом невероятный,
где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам,
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу
и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплакнет ли ящик музыкальный,
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин, —
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

ПАМЯТИ ГЕНРИХА НЕЙГАУЗА

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки.
Я все нашла уже и все превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о, мука мук моих, о, музыка моя.

Излишек музык — две. Мне — и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но все это — одно. Как много и как больно.
Чужая — и не тронь, о, музыка моя.

Что нужно остриям органа? При органе
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О, музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?
Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты — лишь затем моя, о, музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,
он проводил ко мне все то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо, и бархат цвета... цвета? —
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:
как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне ее прощать: мне та земля мила,
где Гете, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Еще там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я — какой ни есть, но ученик его.

ПЕРЕДЕЛКИНО ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Темнела долгая загадка,
и вот сейчас блеснет ответ.
Смотрю на купол в час заката,
и в небо ясный вход отверст.

Бессмертная душа надменна,
а то, что временный оплот
души, желает жить немедля,
но это место узнает.

Какая связь меж ним и телом,
не догадаться мудрено.
Вдали, внизу, за полем белым
о том же говорит окно.

Все праведней, все беззащитней
жизнь света в доблестном окне.
То — мне привет сквозь мглу, сквозь иней,
укор и предсказанье мне.

Просительнее слез и слова,
слышнее изъявления уст
свет из окна. Но я — готова,
и я пред ним не провинюсь.

Ни я не замараюсь славой,
ни поле, где течет ручей,
не вздумает очнуться свалкой
Ненужных и чужих вещей.

ПИСЬМО БУЛАТУ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Что в Калифорнии, Булат, —
не знаю. Знаю, что прелестный,
пространный край. В природе летней
похолодает, говорят.
Пока — не холодно. Блестит
простор воды, идущий зною.
Над розой, что отрадно взору,
колибри пристально висит.
Ну, вот и все. Пригож и юн
народ. Июль вступает в розы.
А я же «Вестником Европы»
свой вялый развлекаю ум.
Все знаю я про пятый год

столетья прошлого: раздоры,
открытья, пререканья, вздоры
и что потом произойдет.
Откуда «Вестник»? Дин, мой друг,
славист, профессор, знаний светоч,
вполне и трогательно сведущ
в словесности, чей вкус и звук
нигде тебя, нигде меня
не отпускает из полона.
Крепчает дух Наполеона.
Графиня Некто умерла,
до крайних лет судьбы дойдя.
Все пишут: кто стихи, кто прозу.
А тот, кто нам мороз и розу
преподнесет, — еще дитя
бездельное, но не вполне:
он — знаменитого поэта
племянник, стало быть, родне
известен. Дальше — буря, мгла.
Булат, ты не горюй, все, вроде,
о'кей. Но «Вестником Европы»
зачитываться я могла,
могла бы там, где ты и я
брели вдоль пруда Химок возле.
Колибри зорко видит в розе
насущенный смысл житья-бытья.
Меж тем, Тому — уже шесть лет!
Еще что в мире так же дивно?
Все это удивляет Дина.
Засим прощай, Булат, мой свет.

* * *

(Шуточное послание к другу)

Покуда жилкой голубою
безумья орошен висок,
Булат, возьми меня с собою,
люблю твой легонький возок.

Ямщик! Я, что ли, — завсегда
саней? Скорей! Пора домой,
в былое. О Булат, солдатик,
родимый, не убитый мой.

А остальное — обойдется,
приложится, как ты сказал.
Вот зал, и вальс из окон льется.
Вот бал, а нас никто не звал.

А все ж — войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенести! То — он. Да он ли?
Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
Из Петербурга в Ленинград.

ПАВЛУ АНТОКОЛЬСКОМУ

I

Официант в поношенном крахмале
опасливо глядит издалека,
а за столом — цветут цветы в кармане
и молодость сдает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.
Он, палкою по воздуху стуча,
летит мимо испуганных прохожих,
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,
дай помахать и хлебом не корми!
Гасконский, что ли, это темперамент
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счету
тот, кто — один. На белом свете он —
один всего лишь. Но заглянем в щелку.
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьет старик бедовый,
потрескивая на манер огня.
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.
Он — мускулы под кожей коня.

Все — чепуха. Сидит старик усталый.
Движение есть расточенье сил.
Он скорбный взгляд в далекое уставил.
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,
неисполнение давешних надежд.
А где же — сын? Где этот строгий мальчик,
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:
Как вы бодры... вам сорока не дашь...
Молчали бы, летая по ступеням!
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!
Оно гудит под пологом кровати,
закруживает, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, все, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.
В чужом доме плачь домовым в трубе.
Пусть женщина, капризница, мотовка,
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!
Нет, отпусти! На тройке прокати!
Все впереди, чему должно случиться!
Оно еще случится. Погоди.

1956

II

Двадцать два, значит, года тому
дню и мне восемнадцатилетней,
или сколько мне — в этой, уму
ныне чуждой поре, предпоследней
перед жизнью, последним, что есть...
Кახетинского яства нарядность,
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.
Я беспечна и ем ненаглядность.
Это все происходит в Москве.
Виноград — подношение Симона.
Я настолько моложе, чем все
остальные, настолько свободна,
что впервые сидим мы втроем,
и никто не отторгнут могилой,
и еще я зову стариком
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

ТАРУСА

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...

Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленой, не знаю, как зовут?
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно, и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.
Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка—танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка
в твоём дикоязыком букваре.
Ура, что победил, недаром злился
и морщил лоб при этих — в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.
Прости меня, удачливый старик.
Ты победил. Тебе какое дело,
что вижу я, как дом в саду стоит,
где, бедное, твое истлело тело.

III

Молчали — той. Зато — хвалима эта.
И то сказать: иные времена.
Не вняли крику — и целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.
Зато — ее любившие, брезгливы
ко мне чернила и тетрадь гола.
Рак на безрыбьи или на безглыбьи
пригорок — вот вам рыба и гора.
Людской хвале внимая, разум слепнет
и вместе глохнет. Так проходят дни.
И слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей! Ты — хуже, чем они.
Коль нужно им — возглыбься над низиной
их бедных бед. А рыба немота —
не есть ли крик, не слышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта?

НЕ ПОЖАЛЕЮ

Я никогда не пожалею,
что так я кончу подвиг свой —
что я увижу Лорелею
на ослепленной мостовой!

Вослед тебе я оглянулся —
я сбит крылом грузовика —
не захотел — и не очнулся —
и так остался — на века —

в крови моей запечатленный
привет последний красоты —
среди безвыходной вселенной,
среди бездушной темноты!

* * *

В плену каких-то невозможных схем
сам на себя, увы, я наговариваю,
грехи чужие на спину наваливаю,
едва сношу их, не смеюсь, не ем.

В плену благоприобретенных догм
что не горит во мне — я раздуваю,
что заживет на мне — я раздираю —
с тоскою, со слезами, со стыдом.

...И вижу я, что нет ни догм, ни схем,
и до живого я дошел, до сути —
я осудил себя... Где мои судьи?
Я этих прав не знаю ни за кем.

И что поделать — это все мое.
Я счастлив, как естествоиспытатель,
я связь увидел. О, Россия, мать,
то детский лепет был, то все твое...

В ГОРАХ

В тени полупрозрачной траура
прошла она — не шелохнулась —
и вслед за нею имя Л А У Р А —
хрусталь воздушный — протянулось,

и марево над камнем выжженным
дрожало и переливалось,

и сердце помыслам возвышенным
и скорби женской предавалось.

Носи легко одежду яркую,
не урони гордыню вдовью —
как я легко дышу с Петраркою,
утешенным твоей любовью.

ЧЕТЫРЕ БАЛЛАДЫ

НА ПОЛЕ КРАСНЫХ МАКОВ

(Из Маркеса)

Не надо задавать бессмысленных вопросов.
На море ни следа, ни тени на песке.
Испанский галион, обуглившийся остов —
на поле красных маков, от моря вдалеке.

Когда он был и плыл? Когда воздухоплавал,
на ярких парусах ныряя в облаках?
И бог его призвал — и не покинул дьявол.
И посуху он полз на слабых плавниках.

И здесь его сожгло безмерное терпенье,
и маки подошли к обугленным бортам
и выразили вдруг чудесное волнение —
как свойственно цветам, единственно цветам.

Любови не избыть — и он плывет и правит
за каменный венец — зубчатый окоем.
Любови не избыть — и сердце умирает
в горах и облаках, во времени твоём.

* * *

И туда я взошел высоко сквозь огонь полуночи,
где в горах обитало печали моей божество —
окрылило меня, отворило мне сонные очи,
чтобы знал обо всем — и не чувствовал чтоб ничего.

Далеко до земли и до неба далеко, и нечем,
нечем жить кроме вечной свободы и нечем дышать...
Долго жил и дышал я — подобно крылатым предтечам —
и тоску я познал как связующую благодать.

Сердцу надо немного: любить или плакать — я выжил,
выше зла обитая и все-таки ниже добра,
и однажды, как смерклось, покинул я скалы и вышел
на мерцавший огонь, и сидел с пастухом у костра.

Знал он больше меня, и весеннюю мглу коротая,
мне сказал обо всем. Становилось легко оттого,
что меня позовет на рассвете тропинка крутая,
что по мне затоскует печали моей божество.

* * *

О чем же, о чем же? О молнии зябкой,
о некоем плавающем напряженье
в такой тишине неразрывновнезапной...
О светлозаоблачном преображенье.
О том, как ребеночка распеленали
и он не давался ни маме, ни папе,
когда переборки и ребра стонали
у ветхого дома на дышащей хляби.
Выпрастывал крылышки мальчик нежнейший —
и тут распахнуло оконную раму...
Когда б не решетка! О чем же? О ней же.
Вершит милосердье старинную драму.
Задремлет старик, заслоненный газетой,
скамья опустеет в тени бездыханной...
О сумеречной, стариковской, об этой
извечной Иверии, столь бестарханной.
О жизни щемящей, сладчайшей и тленной —
я помню твой шаг неохотный, этапный.
О ней, заточенной, о ней, убиенной
в такой тишине неразрывновнезапной.

* * *

Одни шатильоны ушли, а другие уснули —
хевсуры легли каменеть в каменистую пашню —
лишь тень Батареки, бессмертного Чинчараули
в селенье спускается с гор и скрывается в башню.

Террасы и башни под снегом — все пусто и прочно,
и времени вольного некуда деть привиденьям.
В покинутый дом поднимается он еженощно,
влекомый все той же надеждой, измученный бденьем.

И так же, как некогда было и будет вовеки —
пока он восходит и медлит, считая ступени,
считает шаги незабвенная дочь Батареки:
стихает, но тихое не прерывается пеньем.

Шаги поднимаются — это мотив ожидания.
Тринадцатилетнюю Мзию ничто не заботит:
прекрасные звуки на свете все знают заранее...
Отец мой восходит, отец — мое солнце — восходит...

Не пил Батареки в ту осень, охотился худо
и кровною местию сердце свое не утешил.
И дочка поет как всегда — непонятное чудо!
Как будто услышал впервые — вошел и опешил.

Уступы родного селенья, небес очертанья,
туманные зимние линии угля и мела.

тайственно преображаются в нежной гортани.
Дышала — и пела, молчала и слушала — пела...

Зачем ты поешь? О родное дитя, совершенство!
Не это ли, господи, воля твоя в человеке?
Он вынесет муки — но он не выносит блаженства.
Не вынес блаженства суровый хевсур Батареки.

Рука поднялась и ударила... Все это было.
А вечером легкое тело он вынул из петли
и сгинул в горах — но его не держала могила,
и тень на снегу появлялась, темнея и медля.

Светает, светает — и он покидает Шатили,
и смотрит, и смотрит — и светится что-то в проеме —
стоит замирая — и кажется — слышится — или
и вправду селенье покинули все шатильони?

АННА

Вспоминаньем истлевая,
живет старушка восковая
и мертвецов своих корит,
и говорит, и говорит...
На стенке с ними заодно
сама хозяйка в кимоно,
вся молодая, испитая.
Овала рама золотая.
Всех пережить ей суждено.
Слышна затейливая погудка:
электрочайничек парит.
Старушка голодом морит
и черным чаем — рак желудка.
И начатое позабыв,
без перехода и вразбив,
но ровным тоном, как в балладе,
рассказывает мне о Владе.
Начало от конца. Покинул
меня в раскаянье, в слезах,
и написал, что сердце вынул
и помнить будет в небесах.
И мне, однако, рай обещан...
И тут обиды. И про женщин —
одна на сером жеребце
въезжала прямо на террасу,
так домик весь звенел и трясся,
а Владя расцветал в лице.
Потом ушел и был с другой
над венетийскими водами —
но все цвели и опадали,
а я была ему — одной.
Его ронсаровские циклы
читала плача и любя.
Мне говорит: играю в куклы,

запомни: я люблю тебя.
Я знаю — что ж ты врешь другим?
Его спросите-ка подите!
Не подступиться — поглядите:
и часто он бывал таким...
Чуть фотография туманна,
а взгляд пронзителен — ей-ей,
игумен братии своей.
Сознание дара или сана.
Певец четвертого сословья
и пятому последний брат
затем, что весь — аристократ —
гордынею, отчасти кровью.
И я писала — только Владя
писать не то чтоб запретил,
а пошутил — да и отвадил
и круг другой мне очертил.
Был мягок и непререкаем.
Я знала весь его словарь:
уж если говорит — я Каин,
то надо понимать — я царь.
За гордость эту и молюсь.
Мне говорит: я становлюсь
произнесенным мною словом
и тем сойду путем готовым —
Орфей — отселе прямо в ад...
О боже! Все равно не верю
ни Каину его, ни зверю —
не больше прочих виноват.
Но жалуясь и негодуя,
такую вздумает вину —
свою, чужую, не одну —
да все — и на спину худую.
А мне: не забывай, Нюрок,
хоть ты мой рай, но ты мой рок.
Незабываемо и чудно
бывало, право — как в раю.
Так и скажу про жизнь мою
в день судный...
И говорит, и говорит —
ему, себе ли в утешенье.
Однако это разрешение
мучений, ревности, обид.
И как-то мне легко и странно:
я словно послан от него —
к тебе от мужа твоего,
великомученица Анна.
Где спесь его и мрак, и злобство?
Где сатаническая роль?
Великодушное потомство
воспринимает честь и боль
и ту классическую соль
избранничества и сиротства.

●

* * *

Мучительно книгу начать,
Когда уже умер на треть,
Когда, научившись смотреть,
Душа приучилась молчать,

Поскольку давно лишены
Надежных и ясных основ,
Влекумы потоками слов, —
Мы просто хотим тишины.

Когда репродуктор стихал,
Дыхание пыльных раки
Казалось внезапней стиха,
Нужнее высокой строки.

И даже когда воронье
Вопит над безмолвьем снегов —
Отчетливо слышишь Ее,
Которая лучше всего.

...Послышится слово на миг,
И вновь оглушил и полез
В ушные отверстия крик!

...Но есть еще северный лес
И стопка зачитанных книг.

По счастью, на долгом пути
Слышней щебетанье и щелк.
Один соловей: «чок—чок—чок»
Другой: «капути — капути».

По нашим лесам и степям
Всяк сущий — себе голова.
И, значит, никто за тебя
Не скажет такие слова.

ДИДИ ЦКАЛИ МОДИС

«Діди цкалі модис!»*
Так плескали воды
Там, где Рошкис-цкали скалы не пускали,
Что гортанность резко возникала в яви
Грохота и плеска — как форели в яме.
Две струи плескали точно слово «цкали»

* Диди цкали модис — буквально — большая вода идет.

И гудело «дiди», раздвигая плиты,
И стояло слово в каменной природе
Как первооснова, как хрусталь в породе.
И пустело слово в точном переводе...
«Цкали» — это клекот горного потока,
А «вода» — далека, медленна, глубока.
«Диди» — шаг, не шире, но струя безумна!
А у нас большие движутся бесшумно.
И идет — не iдет, а скорее скачет.
Кто глядит — увидит и переиначит.
В климате российском, где протяжны зимы,
В переводе близком не клокочут эти
Струи Хевсурети, ритмы Хевсурети. —
Неизобразимы.
Впрочем, в Хевсурети при коротком лете
Долгие морозы, а в Шатили дети
Русы и курносы.
Жители Архоти преданы охоте,
Точно каргополы.
И ложатся снега, словно на Онеге,
Застилая доли.

* * *

А слова не защитят,
Не спасет бумага тонкая:
Замерла равнина долгая,
Черны вороны сидят.

Там, где пусто и бело, —
На березе, на осине —
Мертвенно блистает синим
Их чернильное перо.

АРХОТИ

*«Пусть могилу мою украсит дэка...»
Важа Пшавела.*

Лрячет тропинка извивы свои вековые,
Круто ведет.
А по ущелью белеют цветы восковые —
Дэка* цветет.

Свежее утро, фиалки еще не примяты,
Нету восьми.
Из родника зачерпни и листочек цицмати
В губы возьми.

* Дэка — рододендрон

От перевала в горном проходе,
Солнце глядит.
К башням кистинским, вниз по ущелью Архоти,
Асса летит.

Если вначале слышится еле-еле
Голос реки,
То на подходе к башенной Ахиеле —
Слух береги!

Белые овцы в утренней Ахиеле
Вышли на склон.
В тихой протоке тихо стоят форели,
Как под стеклом.

Что же, хевсур, проходишь, очи понутив,
Конь в поводу?
Выстрел не грянет: тихо, Очаури,
В этом году.

Кровники спят в гранитной своей постели.
Тихо. Зато
Всюду ущелья горные опустели,
Милый Дато.

Кисты скакали, пояс стянув потуже,
Чтили коран.
...Выстрел ударит гулко, как бич пастуший, —
Гул по горам!

Жили поэты в каменной Хевсурети,
Хмурой на вид.
Так что поныне — пусть не второй,
так третий —

В лад говорит.

Так что поныне в песенной Ахиеле
Кони летят.
Норазаули помнят о Габриеле*,
Путника чтят.

Но опустенье мест, где певцы бродили,
Кто отвратит?
Как реставратор, что подновил Шатели,
Жизнь возродит?

...Солнце все выше, все горячее с неба
Льются лучи,
Дэка, а рядом, высверлив толщу снега,
Свищут ручьи.

* Габриел Джубушанури — поэт, уроженец Архоти.

Прячет тропинка извивы свои вековые,
Дальше ведет.
А по ущелью белеют цветы восковые —
Дэка цветет.

* * *

Оставьте меня в покое,
Не звоните железом,
Полудикие кони
Заонежского леса!

В позабытых домах
Поржавели засовы.
Желтоглазые совы
Ночью светят в углах.

Церковь, крытая ржавью,
Спас облезлый и кроткий.
...Только гулкое ржанье
Да топот короткий!

Ни узды, ни седла,
Ни огня, ни погони —
Скачут черные кони
Вдоль пустого села.

Утром в чашу умчат,
Бродят возле да около.
Ночью— снова кричат,
Смотрят в мертвые окна.

...Я ходил по камням,
Жил в безлюдьи, в молчаньи,
Только кони меня
Навещали ночами.

ДЕТСТВО

Да, да, да! Я — такой, сякой!
Угорели вы что ли все?
...По Черниговскому шоссе
Звонко шлепаю босиком.

К черту дрови! Да что мне в них?
Я другое спешу решить —
Я решил интересно жить
И в реке утопил дневник.

Это — подвиг, а не игра.
Вырос, будет с меня игры.
Это я направляюсь в Крым,
Где акулы и виноград.

Засыпаю в густом овсе.
Никакую не жду беду.
...Восемнадцатый год иду
По Черниговскому шоссе.

* * *

Журавли летели
Журавлиным клином
Над высоким дѣмом,
Брошенным, старинным.
Журавлиным стоном
Оглашались дали.
Тени проплывали
В озере Бездонном.

Рябчики свистели
В зарослях малины,
И не по-над лесами
Около недели —
Журавли летели
Клином журавлиным,
Пристально глядели
Круглыми глазами.

Желтыми листьями
Замело покосы,
Тропки зарастали
Красными грибами.
Сладкими грибами
Лакомились лоси —
Шляпки обрывали
Толстыми губами.

Близятся метели.
Вспыхнули рябины.
Теплые недели
Над высоким домом
Быстро пролетели
Клином журавлиным.
Утонули тени
В озере Бездонном.



С МУЖЕСТВОМ И ПРАВДОЮ В ГРУДИ

Со второй половины пятидесятых годов Евгений Евтушенко возглавил «третью волну» великого «прибоя» или «прилива» русской поэзии к грузинскому берегу и, следуя духовным заветам советских первооткрывателей этого берега — Тихонова, Пастернака, Заболоцкого, Антокольского, — получив эстафету у поколения Луконина и Межирова, он первый, вместе с Беллой Ахмадулиной, открыл поистине новую блистательную страницу в благородной летописи русско-грузинского поэтического побратимства.

Эта новая волна органически была связана с огромными общественно-политическими сдвигами, которыми было отмечено само время и она, естественно, совпала с новым подъемом всей советской литературы, в том числе и русской поэзии тех и последующих лет. И справедливо было бы подчеркнуть, что в этом могучем и необратимом процессе обновления роль самого Евгения Евтушенко не только не сводилась к роли свидетеля, но явно была ролью запевалы, и не потому, что он был лучше других, а потому, что в нем счастливо сошлись возраст души со зрелостью времени, генетически заложенная в нем социально-нравственная программа с исключительно благоприятными условиями для ее динамического проявления и претворения, короче, совершился тот редкий контрапункт, когда союз Истории и Таланта дает возможность сбиться формуле, как-то самим Евтушенко декларированной: «Поэзия, по известному выражению, это самосознание народа. Чтобы понять себя, народ и создает своих поэтов... Быть поэтом вообще не легко. Быть поэтом первой в мире социалистической страны, на собственном историческом опыте проверяющей надежность выстраданных человечеством идеалов, — это налагает особую ответственность. Исторический опыт нашей страны изучается и будет изучаться не только по сводам документов — он будет изучаться и по нашей литературе, по нашей поэзии...».

Среди выстраданных человечеством идеалов, надежность которых проверяется историческим опытом нашей страны, конечно же, подразумеваются и те свершения, которые мы обозначаем испытанными формулами интернационального единения, межнационального побратимства, дружбы народов. Речь

идет, разумеется, и о содружестве культур, литератур, поэзий. А Евгений Евтушенко и здесь может гордиться выпавшей на его долю или избранной им миссией вожака и застрельщика, пролагателя новых путей и открывателя новых горизонтов.

Стихи Евгения Евтушенко о Грузии и его грузинские переводы — это своего рода поэтическая кардиограмма не только сердцебиения русского поэта, но и сроднившегося с ним навсегда края и поэзии этого края. Даже перебои в этом сердцебиении — своеобразное отражение реальности. Сам поэт, например, в таком воспоминательном контексте говорит об этом перебое-перерыве:

«Впервые я побывал в Грузии еще совсем юным поэтом и тогда был обласкан ныне ушедшими от нас Галактионом Табидзе, Георгием Леонидзе, Симоном Чиковани — классиками не только поэзии, но классиками грузинского характера. Я много переводил, писал о Грузии. Потом был большой перерыв. Затем с волшебством вечного магического магнита Грузия снова притянула меня, и я долго работал над небольшой антологией, где мне хотелось хотя бы пунктирно показать развитие грузинской поэзии от Руставели до современных грузинских верлибров, добавив то, что еще не было переведено никогда, и кое-что — как в случае с Руставели — попытавшись перевести вновь, по-своему».

Слова о «большом перерыве», как бы они ни осмыслялись и ни соотносились с нашей реальностью тех лет, нуждаются в одном коррективе: это были годы многочисленных и разнообразных поездок и путешествий поэта буквально по всем континентам мира, в десятки и десятки зарубежных стран, с поэтическим осваиванием этого необъятного материала; но не было страны, не было земли, ступив на которую, русский поэт не помянул бы восхищенным словом Грузию и грузинскую культуру, грузинскую поэзию и грузинских поэтов, Руставели и Бараташвили, Важа Пшавела и Галактиона, Пиросмани и Гудиашвили. И он имел все основания заявить недавно, как на духу:

Земля грузин, ты так мала!
Не тыщевеерстным протяженьем
могуча ты, — а притяженьем
и человека, и орла.
С любой фальшивой высоты,
с любого скакуна и клячи,
из неудачи, и удачи
меня притягиваешь ты.

И он завоевал право на образный парадокс, который не следует толковать буквально, но в котором мы обязаны вычитать истину любви и родства, обуревающих поэта:

О, Грузия, — нам слезы вытирая,
ты — русской музы колыбель вторая.
О Грузии забыв неосторожно,
в России быть поэтом невозможно.

Переводы Евгения Евтушенко из грузинской поэзии — это действительно своего рода его личная малая антология этой поэзии, ибо воистину огромен сам масштаб творческого подвига, объявшего поэтическое пространство от Руставели до Анны Каландадзе и ее младших современников. Правда, эти переводы охватывают преимущественно область грузинской советской поэзии, но они предварены несколькими избранными страницами грузинской классики, украшенными именами и творениями Руставели, Бараташвили, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, раннего Галактиона.

Руставели! Я как-то писал и повторяю здесь, что произошло наконец то, что должно было произойти хотя бы через шесть с лишним десятилетий после того, как Бальмонт перевел первые строфы «Витязя в барсовой шкуре», и через четверть, примерно, века после того, как Заболоцкий поставил точку вслед за последней строкой своего перевода Руставели. Евгений Евтушенко перевел ныне одну из удивительнейших глав бессмертной поэмы — «Завещание Автандила».

Будущий редактор этой книги писал поэту по ходу ее подготовки: «Посылаю подстрочники, надеюсь, что ты уже мощен (после болезни. — Г. М.) примериваться к ним. Пока даю малую порцию, но это Руставели, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели. Не прельщайся схемами и транскрипциями — они мало что дают, лишь связывают вредными путами. Каждая поэтическая речь суверенна и самодержавна. С этим считался, например, сам Акакий в своих переводах. Ты первый, вслед за Борисом Пастернаком, до конца это постиг и провозгласил. Особенно это касается Руставели — 16-сложный хорей и четырехкратная рифмовка создавали ему неуют даже в самых добрых объятиях. Умоляю — рифмуй перекрестно или лучше даже парно и создай, подбери, изобрети иной размер или даже два варианта, если захочешь по-разному передать «мажор» и «минор» Руставели (об этом особо)... Но все это от лукавого, нужна живая находка, ритмическое озарение, удача, наконец. Я про себя часто наборматываю или длинный анапест... или уже прямо гекзаметр... или «удвоенные» ямбические комбинации с парной рифмовкой... Но тебе ли мне все это говорить — сам знаешь, как быть. В тексте я особо подчеркнул строчки, которые звучат т. н. афоризмами. Это следует сохранить, ибо в этом смысловое и целевое свойство, не говоря о чисто поэтическом...».

И вот поэт осенил не анапест или ямб, а очень своеобразный амфибрахий с «силлабической раскачкой». С истинно поэтической доблестью отбросив предрассудки относительно обязательности воссоздания в переводе ряда чисто формальных признаков поэтики поэмы, отказавшись и от хорейского дубляжа руставелиевского шаури и от четырехкратной рифмовки, в равной мере сковывающих при «трансплантации» естественное звучание русского стиха, а значит, и музыку духа Руставели, Евтушенко добился удивительно живого, энергичного, экспрессивного, мудрого и человеческого, со всей пронзительностью лиризма и мощью эпики, истинно прекрасного, то есть родственного руставелиевскому, звучания и движения, дыха-

ния и кровообращения этих строф, этой главы «Витязя в тигровой шкуре». И своим переводом он увенчал более чем двадцатилетний свой труд по русскому преобразению грузинской поэзии.

Что же касается переводов в целом, то внимательный читатель заметит в них естественное движение и эволюцию во времени — от стиля романтического к большому его реализму. Это не оценочные понятия, а именно признаки эволюции, сопряженные с движением самого времени. Но и в применении к более позднему «реалистическому переводу» я мог бы повторить сказанное мною два десятилетия назад о «романтических» переводах Евгения Евтушенко, когда я исходил из его же только-только прозвучавшей декларации — «не страшен вольный перевод, ничто не вольность, если любишь». Да, поэт «всегда «верен», когда он действительно любит и не обманывает себя. И он почти всегда вольно или невольно «изменяет», когда **заставляет себя** полюбить; дотрагиваясь до нелюбимой строфы, он как бы закрывает глаза и воображает на ее месте другую, любимую. Иногда он бежит от нее, иногда старается приукрасить, чтоб хоть как-то оправдать свою с ней связь. Но если уж поэт действительно любит, он сразу, мгновенно, постигает душу «чужой» поэзии, угадывает ее чувства и мысли, схватывает налету, понимает все с полуслова, до боли остро видит еле заметное, до боли резко слышит еле слышимое. И тут «ничто не вольность», потому что все от любви, от понимания, от постижения, от озарения.

Это, конечно, всеобщий закон творчества, сказавшийся в данном случае, в творчестве переводов. И я в свое время испытал немалое удовольствие, встретив в новых, хоть и того же года, стихах Евгения Евтушенко такое исповедальное обращение к музе, с близким моему пониманию раскрытием тайн психологии творчества:

Что есть, что будет у меня?
Не знаю этого детально,
но для меня одно не тайна
в начале и на склоне дня.
Среди неглавных мук и ласк
ты — ласка главная и мука,
моя измученная муза,
с кругами темными у глаз.
Любим ли я тобой? Любим,
но как-то горько и печально.
Ты смотришь на меня прощально,
как будто стал совсем другим.
Я изменяю, не любя,
тебе с подобьями твоими.
Твое приписываю имя
так непохожим на тебя.
Но, с болью видя эту ложь,
без громких слез, без нареканий,
коленки обхватив руками,
меня, как девочка, ты ждешь.
Как обратить твое «прощай»

в простое утреннее «здравствуй»?
Будь не застенчивой, а властной,
и требуй, а не вопрошай!
Пускай измен моих не счесть,
пускай меня с усмешкой судят,
ты для меня и то, что будет,
ты для меня и то, что есть!

Да, это исповедь перед Музой, обращение к ней. Но сама она—Муза—единственная возлюбленная поэта—всегда инобытие «двух любимых», к которым он так обратился лет за пять до этого, предвосхитив даже строй и композицию своей будущей исповеди перед Музой:

Милая, не надо слов обидных,
что ищу дешевой суеты.
У меня на свете две любимых —
это революция и ты.
Но ее большие годовщины
не одни итоги громких дат.
Вижу на лице ее морщины
от измен, раздумий и утрат.
Вижу все, но я не просто каюсь —
очищаюсь и готовлюсь в бой.
На колени тихо опускаюсь
перед нею и перед тобой.
Признаюсь вам с горькой неулыбкой,
сколько понабилось в дни мои
самой всякой дружбы невеликой,
самой всякой маленькой любви.
Вы меня, любимые, простите,
не ругайте с нынешнего дня.
Вы меня в дорогу проводите,
вы любите все-таки меня.
Ухожу я не с одной виною —
с мужеством и правдою в груди,
честный перед тем, что за спиною,
сильный перед тем, что впереди.

Это не только тончайшая лирика: это кристальной чистоты нота «поэзии, ставшей самовыражением народа». Не к каждому снисходит такая благодать, и не всех своих поэтов создает народ с целью «понять себя». В этом смысле Евгений Евтушенко «избранный из бранных», говоря словами великого его предшественника Владимира Маяковского. И если бы сам Маяковский не соединял в себе черты, которые иным до сих пор кажутся поляризованными между Маяковским и, скажем, Есениным, то Евгений Евтушенко как раз тот поэт, в котором во время и с органичностью природного явления возродилось переплетение этих черт.

И он из тех поэтов, кто заслужил право примеривать к себе для кого просто хрестоматийные, а для кого имеющие вечно живой смысл слова:

Я себя под Лениным чищу,
чтобы плыть в революцию дальше.
Я боюсь этих строчек тыщи,
как мальчишкой боишься фальши.
За него дрожу, как за зеницу глаза,
чтоб конфетной не был красотой оболган.
Голосует сердце — я писать обязан
по мандату долга.

Он из тех, кто зорко замечает каждый раз, как «слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье», и уж он-то умеет их «сиять заставить заново»... Пройдет время, образуется так называемая дистанция, и в мудрой, всевидящей, всепонимающей перспективе времени должным образом будет оценена уже всеми, а не только «имеющими уши», замечательная социально-поэтическая роль Евгения Евтушенко и перед лицом Музы, и перед двумя ипостасями ее — Революцией и Любимой... А пока длятся споры и пересуды — как всегда и везде — о поэте, мы будем повторять им в ответ слова другого поэта о нем же:

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.
Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

...Имеет ли все сказанное отношение к переводам? Имеет. Ибо поэзия неделима. И как сказал сам поэт — «мои переводы это в то же время и мои стихи, очень дорогие для меня, и, может быть, еще более дорогие, чем просто мои».

Чем же закончить нам эти отрывочные, ограниченные лишь одной из «линий» на «ладони поэта», заметки о стихах и переводах Евгения Евтушенко? Читатель, наверное, заметил, что мы часто стараемся говорить о поэте его же словами, чтобы таким образом ввести в обиход не только чисто поэтическую область его грузинских раздумий. Прибегнем и под занавес к этому приему. Предоставим вновь слово Евгению Евтушенко. Вот отрывок из его выступления еще на Декаде грузинской литературы и искусства в Москве, в 1958 году:

«Мое выступление будет чисто лирическим. Я просто расскажу, чем для меня — молодого русского человека — была грузинская поэзия.

У Уэллса есть рассказ, который я очень люблю, называется этот рассказ «Зеленая калитка». Живет человек, бывает ему в жизни чрезвычайно трудно, разное бывает в жизни — и горести, и радости... И вот, шел он однажды по улице, вдоль огромного широкого забора, отягощенный горестями жизни, и вдруг на этом заборе возникла зеленая калитка. Он открыл ее — и перед ним открылся изумительный, шелестящий, благоухающий сад, он вошел, и чувство большой радости охватило

его. Но мысль о том, что его в этот сад не впустят, заставила его вновь выйти из этой калитки. Так бывало несколько раз в его жизни, так что эта зеленая калитка возникала то в его комнате на стене, то на заборе, то просто в воображении, светься зеленым свечением в воздухе.

И вот грузинская поэзия для меня — это действительно своего рода зеленая калитка, вечно зеленая калитка на стене советской поэзии. Это сад замечательной грузинской поэзии, куда мы вступаем. У нас это совсем другое дело. У Уэллса зеленая калитка возникает неожиданно, и она не может вернуться, а у нас — вечно зеленая калитка грузинской поэзии, и где бы вы ни были, она всегда гостеприимно светится перед вами».

КОГДА НА НАС ГЛЯДИТ ПОЭТ

«Сны о Грузии» Беллы Ахмадулиной вот-вот выйдут вторым — дополненным и расширенным — изданием. И мы могли бы вновь подчеркнуть, что название этой книги не случайно связано с Грузией. В ней собраны произведения Беллы Ахмадулиной самых разных жанров — стихи и поэмы, переводы и проза, в том числе очерковая и критическая, а также живое, удержанное стенограммой или магнитной записью, слово поэта. Грузия же и грузинская поэзия представлены здесь в естественном соседстве с Россией, с ликами и судьбами русских поэтов, от которых и ведет, собственно, свою поэтическую родословную Белла Ахмадулина. У них же — у великих русских поэтов двух слившихся в ее душе столетий — наследует она свою сердечную привязанность к Грузии. Нити этого родства проходят через всю книгу, объединяя стихи о Грузии со стихами, задуманными, написанными или же впервые опубликованными в Грузии. Произведения эти неотделимы, вместе с тем, от других сфер ее творчества, олицетворяя в целокупности, говоря ее же словами, «непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта», возвещая нам дивной музыкой и гармонией своей благородную повесть о том, как приходит к Человеку «сильная, горячая, вечно прекрасная жизнь и одаряет его своим справедливым, несравненным благом». Целомудренная и мудрая в своей гордой и взыскательной, звонкой и великодушной человечности. Музыка ее поэзии, в какие бы русла она ни выливалась, отыскала Белле Ахмадулиной особое, единственно ей предназначенное и сбывшееся место — и в общем могучем течении русской поэзии, в неразрывной последовательности самых высоких ее гребней и, конечно же, в созвездии ярчайших поэтических светил нашего времени, нашего века. Связь же со временем, родство с веком у нее в крови и не требует заверений в своем благонадежном существовании. И человеческий идеал, бросающий свет на ее поэзию, вернее, светящийся из самой ее сердцевины, излучаемый ею. — это всегда неповторимое инобытие того бессмертного света, который человечество пронесло, выстраданно и победоносно, через

Природу и Историю, через Античность и библейско-евангельские страсти, через Возрождение и штурмы всесветных бастилий, через «век девятнадцатый, железный», но и одухотворенный небывалыми творениями, раздумьями и манифестами, через «конец столетья», когда незрело то, о чем она сама скажет так в своей родословной поэме:

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.
Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечерющего века
мерцает лбом симбирский гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе вселенной.

Да, человечество пронесет этот «свежий свет» и передаст с доверием и упованием Новому небу и Новой жизни в этом поднебесье:

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.
Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

И, как прекрасно и точно сказал об этом Павел Григорьевич Антокольский, «Ахмадулина прежде всего внутри истории, внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим... Революционный смысл этих и последующих строф не нуждается в подчеркивании. Важно установить только одно: Ахмадулина гораздо прямее в своем гражданском пафосе, нежели обычно представляют себе. Еще и еще раз: она внутри истории. На то она и поэт». И она, конечно, могла бы повторить, по праву, мысль, высказанную Борисом Пастернаком Тициану Табидзе, продолженную им затем в переписке со вдовой поэта: «Все усилия человека должны быть сосредоточены в его деятельности, успешной, смелой и производительной, а остальное доделывает жизнь. В каких-то высших областях существования, каковы любовь (не только женская, но любовь к родине или любовь современников), творчество и пр., это счастье либо дано, либо не дано вовсе, и тут не о чем заботиться, потому что никакими стараниями и хлопотами тут ничего не сделаешь, или это будет подделка». Под этими словами могла бы подписаться и Белла Ахмадулина. Она и подписалась под ними всей своей «успешной, смелой и производительной» деятельностью и своим доверием к жизни (которая и впрямь «доде-

львает остальное»), своей верностью поэтическому же выражению этого завета, согласно которому надо — «... ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Ведь она же сама при случае выразила по-своему этот поэтический императив:

**Мне нравится, что жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.**

Что же касается «высших областей существования», в том числе и любви к родине, современникам, то разве в такой, скажем, скупой, сдержанной и сосредоточенной концовке стихотворения о дальнем и длительном зарубежном путешествии поэта не больше этого счастливого и обязующего дара, чем в иных хладнокровных рифмованных декларациях:

**Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сальной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.
Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.**

Это одна, «лицевая» что ли, сторона жизнеотношения поэта: и она не исключает, а предполагает неприятие бесчеловечного начала на земле. И к тому «русалочьему ознобу», пронзившему «тело мещанина» и мещанства. Поэзия и Музыка добавляют поистине уничтожающие удары. Или, скажем, так: мещанства, но не в литературно-бытовом только, а в самом безразмерном смысле этого околического, возлелюдского, межеумочного порождения, в самой разнобразной его многоликости, в самых многообразных мимикрических его облициях, с самым широким диапазоном его бездарной и безнравственной самодеятельности — от равнодушия до бешенства, от изобретательнейшего конформизма до скорпионовой жестокости, от домовитой маниловщины до вурдалачьего фашизма, какую бы прописку и какие бы псевдонимы он себе ни избирал...

Но весь этот натиск гневного ямба, дробящего камня, совершается, как мы знаем, лишь во имя «непреклонного добра Труда, Свободы, Любви и Таланта». И под сенью такого и чистого, и грозного неба воистину впору встретиться Пушкину с Руставели, Бараташвили с Лермонтовым, Шекспиру с Важа Пшавела, Галактиону с Блоком, Тициану Табидзе с Пастернаком, Шостаковичу с Ладом Гудиашвили, Антокольскому с Симоном Чиковани и Марине Цветаевой с Анной Каландадзе. И растет свои корни, и ветвится родословная, опровергая замкнутость кровного и приветствуя безбрежность духовного родства:

**Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка — выйдет она на поверхность.**

...Прошло двадцать два года с тех пор, как «в почву вошла косгочка», с тех пор, как Белла Ахмадулина впервые ступила на грузинскую землю, а Грузия, в свою очередь, причастилась благодати ее души и ее таланта. За это время она много-много раз гостила в Грузии и еще больше думала о ней, чувствовала ее вблизи и на расстоянии, ведя молчаливый о ней разговор с Пушкиным и Лермонтовым, с Галактионом и Пастернаком, Тицианом Табидзе и Симоном Чиковани, а то и громко, вслух, переговариваясь в дни и ночи дружеских бдений с подвластными ее доброй воле сверстниками и товарищами. Она так глубоко познала душу этой земли, возлюбя ее плоть, такие заветные страницы ее дум, восторгов и возжелений смогла вычитать, такой законченный образ грузина и Грузии поселила в своем сердце, что мало кто дерзнул бы соревноваться с нею в этом постижении, даже среди нас грузин. Ибо таков закон своего рода «гносеологической оптики» — быт часто заслоняет бытие и надобно порою землю и ее людей заставить врасплох, с пронизательной внезапностью «любви с первого взгляда», или же с небес поэзии броситься к ним, чтобы убедиться в их истинной сущности или возродить в себе полную их познания. И поистине нужно видеть вещи сны, дабы удерживать в себе благословенную явь.

А потом ведь есть еще у поэта дар осиливать пути, которые, как и у его инспиратора, неисповедимы. Это и имел в виду Симон Чиковани, когда восклицал, отсылая Белле Ахмадулиной едва ли не самые любимые свои стихи «Армазского цикла»: «Я просто не могу себе представить, что именно эти стихи переведешь не ты. И вот почему. Этот мой микроцикл родился после мцхетских раскопок, открывших могилу двадцатидвухлетней прекрасной девушки. Эти странные и причудливые строфы были для меня попыткой перекинуть мост в прошлое, проникнуть в него. Я почувствовал это прошлое своим воспоминанием. А воспоминание для меня — особый способ постижения современности. Воспоминание рождается чем-то сегодня увиденным, что будит и тянет за собою память. А кто, кроме тебя, может пройти через эти дебри с живым и трепетным ощущением и истории, и современности...».

Что еще сказать об этом? Разве что сослаться на незабываемый день января 1959 года, когда замечательный грузинский ученый Павле Ингорюк, как редко кто из своих современников обнявший знаниями и сознанием, душою и «шестьм чувством» грузинскую, русскую, да и иные культуры, увидел опубликованные в «Литературной Грузии» ахмадулинские переводы из Анны Каландадзе? Он читал их при Симоне Чиковани и при мне в редакции журнала «Мнатоби», и если б можно было передать словами впечатление, этими переводами на него произведенное, наверное, это и было бы высшей благодарностью поэту.

...А сны о Грузии не были бы снами о Грузии, если бы в них не отразились волшебные видения добрососедствующих мюз — без этого добрососедства Грузия и грузинское слово не мыслили себя с того, по крайней мере, дня, с которого запечатлен тысячелетний путь грузинской словесности. Отсю-

да скупые, но столь любезные грузинскому слуху и духу абхазские, армянские, балкарские страницы этой книги.

И тут пора сказать об одном из главных чудес, совершившихся в разделе переводов этой книги. Силе, вдохновляющей, инспирирующей поэтов, конечно же, ведомо, что часто сам дар больше одаренного, что, как правило, явление поэта глубже, шире и чище персонального носителя поэтического дара, хотя именно личная, человеческая основа избранника удостоивается поэтического дара — было бы что возвышать и очинять в ней этой чудодейственной силе. О да, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», многое в его быту протекает иначе. Но право ссылаться на этот закон имеет лишь тот, кто не таится под сению закона, в том числе и этого. И вот, в этой книге объединены в одну дружную семью не просто разные человеки, а разные поэты, и следовательно, осталось за бортом поэзии все мелкое, суетное, что в жизни могло разделять их.

Конечно, это относится лишь к тем, к кому это относится, и пусть любой из живых наших современников, стихи которого попали в круг поэтических видений создателя этой книги, возрадуется и возгордится всякий раз, отмечая свое совпадение с образом своего двойника — поэта, попавшего в этот круг, и пусть он испытает горечь самоуничтожения, если поймает себя на несовпадении с этим образом. И пусть он и в том, и в другом случае с благодарностью или за поддержкой обратит свои мысли к тем, в этой же книге присутствующим собратьям, которых нет с нами лишь физически, но чьи образы могут служить ему вечным и немеркнущим образцом и в те промежутки жизни, когда он не призван еще Аполлоном. — Пушкин ли это или Бараташвили, Лермонтов или Галактион Табидзе, Ованес Туманян или Тициан Табидзе, Аветик Исаакян или Георгий Леонидзе, Борис Пастернак или Марина Цветаева, Симон Чиковани или Дмитрий Шостакович. Эта книга в своих ясных и чистых пределах снимает все мнимые противоречия и благословляет допущенные в эти пределы души на их истинном пути — пути разума и человечности, то есть все того же «непреклонного добра Труда, Свободы, Любви и Таланта».

Так вот и сбылись они — сны о Грузии.

Каким же почтительным словом помянуть еще эту книгу, что еще сказать о ней, пожелав доброго пути? Что она — эта книга — отразила свечение и сияние, богатство и щедрость натуры своего творца? Что нашей же благодарностью поэту должна обернуться ее безоглядная благодарность миру — общая ли это наша — планетарного значения — Победа над фашизмом, или грузинская речь, двадцать два года дразнящая уста поэта, каждый раз откликавшегося на ее соблазн — своей, родной, сказочной красоты, речью? Или, быть может, повторить уже как-то сказанное нами, — что ее непоколебимое доверие к Грузии и вечный ей привет мы-то должны воспринимать как адресованные, так сказать, «субстанционной» Грузии, ее бессмертной «форме», как говорил Пастернак об этой, по его же словам, «стране неотсроченной краски и ежесуточной действительности», а если и нам, смертным, то лишь как заклинание,

внушение, приказ — быть такими, какими обязывает нас быть эта субстанция, эта форма, и какими продолжает видеть нас любящая сестра наша — Русская Поэзия... Сказано же Беллой Ахмадулиной, хоть и по иному поводу:

Мы все прекрасны несказанно,
пока на нас глядит поэт.

Да глядят на нас вечно Прекрасные Очи Поэта.

ПЕРЕВЕЛ В СЛЕЗАХ ОТ СЧАСТЬЯ

Владимир Леонович — один из крупнейших по самобытной силе таланта русских поэтов сегодняшнего дня. Но как бы мощен ни был старт любого поэта — впереди всегда та или иная дистанция, которую следует преодолеть для того, чтобы самые прекрасные стихи образовали поэзию. Вот на этом-то пути для Владимира Леоновича решающей оказалась встреча с Грузией и грузинской поэзией, а главное, с незакатным солнцем ее — Галактионом Табидзе. Встреча с Галактионом была равносильна новому обетованию и обретению веры. Поэтому, начиная с этого дня, стихи ли самого Леоновича, переводы ли из Галактиона или напряженные, нарастающие раздумья о нем — в стихах и прозе, в переписке и «на полях переводов» — все уже оказалось живущим под знаком этого исповедания веры, с органичностью всякой истинно универсальной идеи, слившейся для него с миром Пушкина и Гете, Шелли и Верлена. И тут произошло чудо, конечно же, духовное, но имеющее и все признаки биологического — произошло как бы сращение голосовых связей поэтов, которые в жизни и не встречались и один из которых ушел из жизни едва ли не раньше, чем произошло поэтическое рождение второго. Уже вступив в самоуправляемую стихию переводов из Первого, этот Второй поэт возликует, ощутив это родство, и взмолится к читателю, который мог бы все это иначе — не по законам чуда, а по подсказке привычки — истолковать:

Милые и дорогие,
я смешал во время оно
с воздухом Галактиона
тайнословье литургии.

Только имя не сказалось
в голубом небесном дыме.
Не руби, когда связалось
связками голосовыми!

А вот и еще одно выражение — обнажение — состояния поэта, погрузившегося в стихию сорадования и сотворчества в своих галактионовых преображениях:

Задохнулся — и на русский
перевел в слезах от счастья
вашу негу, ваши сласти
без усушки и утруски.

Я глядел во глубь колодца
и еще не знаю ныне,
может, веточка привьется
к российской древесине?

Веточка привилась к плодоносящему российскому дереву поэзии Владимира Леоновича. В этом легко убедиться, сравнив

его «догалактионовские» творения с последующими. «Ферментальное» наличие здесь Галактиона очевидно. Речь, конечно, не об обычном влиянии, которое в пору «годам учения», а о добровольном и даже неизбежном выборе зрелой и могучей души поэта, пустившейся в странствия и обретшей великого союзника на мировом Парнасе. Так делал сам Галактион не только в своих руставелиевских и бараташвилиевских, церетелиевских и чавчавадзевских родословных устремлениях, но и в пушкинских, лермонтовских, шеллиевых, верленовых и блоковских пристрастиях. И если уж считаться с тем, что воистину «связалось связками голосовыми», не удивляться нужно, смущаясь, а радоваться, гордясь, и наличию галактионовских обертонов в поэзии Леоновича, и «смешению» в его переводах «тайнословия» его — Леоновича — «литургии» с «воздухом Галактиона», со взыскательно-гостеприимной, великодушной средой его поэзии.

Погружаясь в работу над Галактионом, Владимир Леонович в одном из писем по этому поводу так размышлял о цели и смысле предпринятого им странствия в мир поэта: «Как художник ведет линию рукой и всем корпусом сразу — я старался все писать — Судьбой. Это всегда необходимо, но этого не всегда бывает достаточно. Мне хорошо помогли замечания об интонации, о ритме, о настроении. Но мне нужно и другое — с фонарем пройти, все-таки, по всем этапам этой жизни». Вот такую готовность, такую «изготовку» предполагает подвиг переводчика и такие требования подразумевает он. И все мы обязаны были хоть в какой-то мере ответить на эти требования — да, именно с фонарем пройти по всем этапам жизни Галактиона, осветить русскому поэту все сферы рая, чистилища и ада его судьбы. А Леонович далее уточнял на конкретном примере свое понимание задачи: «Из всех переводчиков Галактиона лучший, по-моему, Белла Ахмадулина, и ее метод — лучший, с моей точки зрения. Он заключен в пословице: подальше положишь — поближе возьмешь. Связан он и с заповедью — «что отдашь — то твое». То есть — всю любовью, всеми разношерстными об авторе сведениями, всем состраданием — по поводу данного подстрочного изложения стихотворения! Всегда — всю собой!..».

И действительно, переводы Владимира Леоновича из Галактиона — особенно из той заветной сферы его поэзии, к которой никто еще до него не прикасался с такой священнодейственной силой, — как раз и доказывают, вслед за блистательным опытом Беллы Ахмадулиной, свершившей чудо «переселения души» в иную созвездии «галактики Галактиона», что все-таки суждены вторая жизнь и выход на внегрузинскую орбиту, казалось бы, «вовсеки непереводаемой» его поэзии. А упомянутая нами «заветная сфера», меж тем, объяла и те **десять дней, которые потрясли мир**, очевидцем коих и был Галактион Табидзе в Москве и Петрограде, а сверх того и создателем первой **лирической** партитуры тех дней, так же как Александр Блок был творцом первого **эпического** воплощения Музыки революции в своих «Двенадцати». А за десять месяцев до этого, еще в родном Кутаиси, при первой вести о февральском крахе самодержавия, Галактион тут же создает свои «Знамена!», опубликованные в первом номере только что начавшей выходить социал-демократической

газеты 13 марта 1917 года, т. е. через две недели после свержения самодержавия. «Знамена!» оказались прелюдией к гениальному Октябрьскому циклу Галактиона, а в переводах Владимира Леоновича эти стихи 1917—18 годов, с предвосхищающими их, примыкающими к ним, порожденными ими и откликнувшимися в будущем, даже через четыре десятилетия, стихами, образуют своего рода эпицентр душевной бури, круги от которой расходятся по всей лирической стихии Галактиона Табидзе, хоть в какой-то мере представленной в этих переводах.

Возвращаясь опять-таки к самым принципам перевода, вновь сошлемся на слова Леоновича о том, что переводы его своего рода «проба пути в самую поэзию Галактиона». Далее же он угадывает и постигает тайное тайных этой поэзии, находит к ней содержательно-музыкальный ключ, без чего были обречены на неудачу усилия многих его предшественников, увы, и вполне многомогущих: «Галактион идет как бы мимо слов, и даже подстроичник дает об этом понятие. В оригинале, видимо, то совершенство звуковой стихии, когда смысловые дважды два — минимум для бедных, и все совершается **над** этим... И определяя принцип перевода, основанный на чисто моих возможностях, я бы сказал, что старался переводить поэзию — поэзией, не умея соблюсти точности в пределах отдельных стихотворений, иногда обедняя оригинал одного стихотворения — на благо другому, в котором мы с читателем подвинулись к сердцу этой поэзии, — и все это делалось невольно или по капризу, потому что Свобода присутствует даже в таком странном деле, как перевод, потому что Свобода — первая любовь Галактиона».

К этой исповедально откровенной и по самой своей сути **творческой** программе мы могли бы добавить, что осмысление судьбы Галактиона Владимиром Леоновичем в стихах и прозе, — а он автор целого цикла стихов о Галактионе и, по меньшей мере, шести очерков о нем, включая послесловие к книге переводов, — ко многому обязывает и нас, соотечественников великого грузинского поэта XX века; эти раздумья будоражат и нашу мысль, сбивая ее с привычной и обжитой колеи и обращая ее к новым граням «образа мысли и образа жизни» Галактиона. И в первую очередь, конечно, этому служат сами переводы Владимира Леоновича, которые подобало бы скорее величать перевоплощениями или **преображениями**, как их склонен называть сам поэт.

ТЮЛЬПАН

Вейся, жилистый тюльпан,
На семи ветрах Тифлиса,
Ты и черен, и румян,
Сверстник чая и манса!

Ты воспитан и воспет
Кистью, струнами и словом.
Узнаю легко твой цвет
В красном, желтом и лиловом.

Узнаю тебя легко —
Где, когда и с кем ни буду,
Ты мне виден далеко,
Виден сразу отовсюду.

Да, присутствие твое
невозможно затуманить,
Как летящее копьё
Невозможно прикарманить!

Дай мне луковку свою, —
В безнадежном положенье
Я с тобою постою,
Чтоб увидеть продолженье.

ТУМАННОСТЬ ДЫХАНЬЯ И ПЕНЬЯ

Вот берег, который мне снится.
И лунные камни на нем.
И вижу я лунные камни,
И знаю, что это они.
И вижу я лунные камни.
И синяя птица на них.
И вижу я синюю птицу,
И знаю, что это она.
И вижу я синюю птицу,
Небесные розы над ней.
Я вижу небесные розы
И знаю, что это они.
Я вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной,
И знаю, что это они.

Тут все переливчато, зыбко,
Волнисто и мглисто, как жизнь,
Как берег, который мне снится.
Когда просыпается дух
И вижу я лунные камни
И синюю птицу на них,
И вижу я синюю птицу —
Небесные розы над ней,
И вижу небесные розы,
Венки из улыбок мадонн,
Газелью улыбку вселенной —
И знаю, что это со мной!

И вечнозеленые звезды,
И волны, и воздух, и кровь
Струятся, дwoятся, троются,
Сплетаются тайно со мной.
И плащ мой уже не просохнет
В туманах, клубящихся тут.
Вселенная наша туманна,
Туманные песни поет.
И я бы на месте вселенной
Закутала тайну в туман
И пела туманные песни
О тайне в тумане своем.

Туманные песни бы пела,
Когда бы вселенной была,
Также туманные песни,
Чтоб ветер развеять не смог
Туманность, где лунные камни
И синяя птица на них,
Туманность, где синяя птица —
Небесные розы над ней,
Небесные розы — туманность!
Венки из улыбок мадонн,
Газелья улыбка вселенной,
Туманность начала, конца,
Туманность лозы виноградной,
Струящейся жизни туманной,
Туманность дыханья и пенья,
Туманность, туманность одна!..

У КАРТЫ ГРУЗИИ

Наплывают названия эти —
Сагурамо, Кварели, Душети.

Словно голос, зовущий из дали —
Лагодехи, Сурами, Цхинвали.

И разносится эхо в тумане —
Кобулету, Манглису, Мухрани.

Отзываясь то звонче, то тише —
Барисахо, Сигнахи, Одиши.

Имена городов и селений!
Лишь услышу — и сердце в смущенье

Замирает в предчувствии встречи
С поводомъем отеческой речи,

Не приученной к горлу с рожденья
Для рыдания, клятвы и пенья,

Непривычной для губ и гортани..
Но звучит от равнин и предгорий —

Сагареджо, Ахалцихе, Ксани,
Марнеули, Самтредиа, Цнори.

* * *

Вот гляжу с нагорной выси,
Обрывающейся вниз,
На распахнутый Тбилиси,
На теснящийся Тифлис.

Городской пейзаж двоякий,
Что запомнится в тебе
По пути из Сололаки,
По дороге в Дидубе?

Ширь проспекта в дымке вешней.
Крутолобый склон холма,
Птичьи домики-скворешни
И высотные дома.

Переулочков проточных
Неуемный говорок,
Между зданий крупноблочных
Старый винный погребок.

Я люблю смещения эти,
Где скрепился наугад
С древней кладкою Кашвети
Новостроек рафинад,

Шум на площади Вокзальной
С влажной песнею речной,
Где, как задник театральный,
Нарикала за спиной.

Где над городской чащей
Майским утром чуть согрет
Неделимый свет летящий,
Золотой небесный свет.

* * *

*«Старый духан «Не уезжай голубчик мой». Сейчас на этом месте
стоквартирный дом на площади Челюскинцев».*

Надпись на картине Е. Д. Ахведиани.

Того духана нет в помине
На повороте за холмом,
Здесь возвышается отныне
Громоздкий стоквартирный дом.

И площадь плоскостью протяжной
Легла на ребра пустыря
В честь экспедиции отважной
Сквозь ледовитые моря.

Попробуй-ка теперь по крохам
Восстановить былой уклад —
Шарманки всхлипы ненароком,
Застолья круговой обряд,

Беспечное течение хора
Вразброд с веранды навесной,
Сады на кромке косогора,
Ночной пролетки бег шальной.

Какие малые приметы
Остались здесь от тех времен —
Мостов сквозь дымку силуэты,
Мощеной улицы наклон.

Заасфальтировали склоны
Сухой, запекшейся земли,
Трубят отрывисто клаксоны,
Снуют поспешно «Жигули».

Исчезли прежние кутилы.
И не услышишь за спиной:
— Куда же ты теперь, мой милый,
Не уезжай, голубчик мой.

ПРОЩАНИЕ С ТБИЛИСИ

Снова Мтацминда в предутреннем нежном тумане,
Мост над водою и улочки в сонном угаре,
Утлые дворики — все обмирает на грани
Сумрака ночи и свежего утра на Мтквари.

Снова светает. Спешит за минутой минута.
С гомоном птичьим сливается рокот чеканный
Гулких платанов. И день занимается круто
По-над холмами, где ширится город гортанный.

Вот на припеке он нежится в мареве света,
Осоловелый к полудню от летнего жара.
Сизой свечою на солнце горит Кашуэта,
Зыбью бульжной проулки текут с Авлабара.

Я в этом городе не вспоминаю о смерти,
И не печалюсь, что юность, как дым, миновала.
Лишь бы опять на увенчанной звездами тверди
Видеть, как прежде, беспечного утра начало.

Слышишь, не надо признания мне и удачи,
Чести двусмысленной в горле вымучивать слово,
Только бы вновь окунуться в хмельной и горячий
Воздух миндалевый этого утра хмельного,

Только бы вновь, уезжая, твердить на прощанье,
Как в забытье, безотчетно, тихонько невнятно,
Звонкоголосые улиц тбилисских названья,
Чтоб, расставаясь, сюда возвратиться обратно.

* * *

Воздух вяжущий, осенний,
Колебаний и сомнений
Полон лес полубольной.
Вновь в сумятице природа,
Снова странная погода —
К ночи холод, в полдень зной.

Срок недолгий до развязки.
Посмотри, как жухнут краски
Охры, сурика, сурьмы,
В рощах дым самосожженья.
И сквозит из отдаленья
Отрешенный свет зимы.

Как же все-таки мгновенны
Были эти перемены,
Нас затронув в свой черед.
Память стужею продуло,
Круче проступают скулы
И твердеет горько рот.

Что ж ты, осень, страсть былую
Растрянжирила вчистую?
На исходе октября
Сучья мертвые над нами
И за черными стволами
Силуэт монастыря.

ВОСПОМИНАНИЕ

Перенестись на десять лет назад —
Где мы с тобой блуждаем наугад,
Где молод я, порывист и беспечен,
Сбегаю по бульжной мостовой,
Где ты идешь, восторженный, живой,
Недугами и болью не отмечен.

Как в том апреле жить еще легко!
И так твоя кончина далеко,
И так вздох шумит над головою
Листва чинар,
Что смерть и впрямь фантом.
И лишь в стихах твоих уже надлом
Наметился зазубриной кривою.

Она потом аорту рассечет
Чертой исхода, подводящей счет
Строке твоей и жизни.
А куда —
Смотри, как беспределен оком,
И воздух сладок, и не крут подъем,
И даль ясна,
Ну, это ли не чудо!

Он так еще не скоро, час беды!..
Пройдя насквозь базарные ряды,
У стойки мы сдуваем пену с пива.
На площади Колхозной без затей
В круговороте рыночных страстей.
И день к закату клонится лениво.

Ах, если б снова очутиться мне
В том времени, в блаженной той весне,
В неведение смотреть невинного
На эту жизнь без холода в груди,
Еще не зная, что там впереди,
Какая душу стережет утрата!



СМЕРТЬ В ТБИЛИСИ

Погода ломалась. Безветрие с влажной жарой.
И хищная зелень. Похоже на крышу теплицы
Немытое, близкое небо. Гремело порой,
Но даже дождю в этот день не хотелось пролиться.

И ливень ленился. И лень было ветру вздохнуть.
Ленивые листья за окнами не шелестели.
И жажда дождя — вот, казалось, единая суть
Всего, что душой было в каждом предмете и теле!

Предгрозие шло — бесконечное, как товарняк,
Напрасно дорогу грозе освещали зарницы,
И кроны томилась, и сохла земля при корнях, —
Беременны тучи, и все же предгрозие длится.

Огни зажигаются, вечер от дня отделив,
Громов громыханье уже заглушают оркестры.
Вечерний Тбилиси намеренно нетороплив,
Зато никогда не скупится на тосты и жесты.

И ждать он не любит: рукою махнув на грозу,
В обычный маршрут поливальные вышли машины...
Но словно обидясь на то, что творится внизу,
Обрушило небо на город — потоки, лавины!

Да! Хляби разверзлись — и ливень отвесной стеной
Весь город накрыл, и казалось — уже без возврата:
Библейский потоп, от которого праведник Ной
И тот не уйдет, и останется без Аарата!

И не было времени, света, тепла, бытия,
И не было сил, и почти не осталось пространства —
Была только боль да, быть может, надежда, что я
Еще не достигну столпов своих жизненных странствий...

Завидная участь: едва лишь достигнув седин,
Изведать такую страну, умереть вместе с нею!
Но если возможно, то пусть я погибну — один:
Без Грузии станет вселенная много беднее...

...Я долго всплывал из беспамятства.
В черной ночи
Последние капли по окнам больничным звенели.
Те ангелы в ризах своих белоснежных — врачи
Бессонно дежурили у изголовья постели,
И хворь — никакая! — меня одолеть не могла,
И фотопластинкой оконный квадратик казался,
Где под проявителем — утром все таяла мгла,
А день, проявляясь, во всей красоте проявлялся.

* * *

Он все же был, хоть быть не мог.
Он был — во всей красе и славе —
Тот день, тот путь и тот порог
Харчевни около Телави.

Слова стесняла хрипота,
Был даже смысл из них похищен.
Семь тысяч лет готовил хищник
Прыжок Гомборского хребта.

Тот день, ломая строй времен,
Был в будущее сдвинут нами.
Ведь знали мы, как часто он
Отныне станет вспоминаем.

Мы поняли, вперед спеша
Вдоль Алазани до Кварели,
Что тот бессмертен, кто дышал
В ребячье горлышко свирели.

Что в янтаре замрет смола.
Что выкрошится пыль из камня.
Но те бессмертны — вокруг стола
В саду сидевшие на скамьях.

Что если так они поют,
Вино и эпос переплывая,
То смерти нет. А есть приют —
Харчевня около Телави.

ПЕСЕНКИ, ПРОПЕТЫЕ ПОД ГУЛ АВТОМОБИЛЬНОГО МОТОРА НА ДОРОГАХ КАХЕТИИ

I.

СТАНСЫ

Возле храма Алаверды
Принимаю все на веру —
Эти бредни, эти ветры,
Эти судьбы.

Близ деревни Ахашени
Принимаю я решение —

Пусть не тленье, а сожженье!
Пусть осудят!

Пусть осудят — не остудят.
Пусть судачат — не заплачу.
Пусть ославят, но оставят
Это чудо:

Эту ересь, этот подвиг,
Эту дерзость, этот полдень.
Ну а после, ну а после —
Будь что будет!

II.

Здравый смысл хворал немного.
И пиковая дорога
(От которой мало прока)
Упиралась в мой порог.
Сорок тысяч глухих братьев
Раскрывали мне объятия.
Был один умен, ей-богу,
Тот, кто мною пренебрег.

III.

БАЛЛАДА

Не такая я простушка,
Хоть хожу в сабо.
Все, что мне сегодня нужно,
Я взяла с собой.

Впрок взяла краюшку ночи
И глоточек дня.
Я тебя любила очень.
Полюби меня.

Не подружкой на пирушке —
Назови судьбой.
Полюби меня, дурнушку,
В стареньких сабо.

IV.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Нас, безумьем обуянных,
На ухабах окаянных
Переменным током ветра
Ушибало постоянно.

Будь, хозяин, с нами щедрым!
Что там — «Твиши» или «Тетра»?

Станем веселы и пьяны
За столом за деревянным
На дворе на постоялом.

V.

РОМАНС

Отлюбивши, отказивши, отжалевши,
Согрешили мы и вольно и невольно.
Вот бы встретиться и выпить «Оджалеши»,
Ни малейшей не испытывая боли!..

Дай нам бог забвенья — как затменья.
Дай нам в глубь колодца не аукать.
Дай нам исцеленья на мгновенье,
Чтоб залюбоваться нашей мукой.

И подумать — ах, какие страсти!
Как удачны реплики и позы.
Эти — драматургу не подвластны.
Им расстаться все еще не поздно.

VI.

Как велика скорость!
В окно окунешь руку —
И сразу мячом ветра
Невольно играть станешь.

Ты видишь, любимый, видишь —
Чем больше вперед гонишь,
Тем больше твою руку
Относит назад к дому...

VII.

СТРОЕВАЯ ПЕСЕНКА

Мы готовы к страде бранной.
Мы умеем глядеть грозно.
Нам еще умирать рано,
Но уже отступать поздно.

Запеваем в строю браво,
Добавляем в стихи прозу.
Нам еще умирать рано,
Но уже отступать поздно.

Мы в шеренге стоим прямо,
И воинственны наши позы.

Нам еще умирать рано,
Но уже отступать поздно.

Пусть на ране у нас — рана,
Пусть кипят на глазах слезы,
Все равно, умирать рано,
Все равно, отступать поздно.

Знаем, что не один ратник
Будет пулею в рай позван.
Нам пока наступать рано.
Но зато отступать поздно.

VIII.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Соблюдать паузу после каждой строки)

Тишина разрешена
богом.
А в тележку запряжен
ослик.
Нашптала бы тебе
много.
Но давай поговорим
после.
Не царапай тишину
шуткой.
Как мышонка, не лови
шапкой.
Почему-то мне сейчас
жутко, —
Как на палубе стоять
шаткой.
Надклевали тишину
птицы.
Расшибили тишину
шны.
Постарайся мне теперь
сниться
В тишине большой,
верушимой.

IX.

ЦЫГАНСКАЯ

Гори, гори, моя беда!
Гори, огонь, оранжевый!
Ни от суда, ни от стыда
Меня не отгораживай.

Смотри в глаза, свети в лицо,
Судьба моя печальная!
Руке легко терять кольцо
Прощальное, венчальное.

Тот обещальный перстенок,
Обманный и неискренний.
Гори, гори, мой огонек,
Лети по ветру искрами...

X.

Надоели палачам казни.
Надоели трепачам басни.
Казначеем не нужны кассы.
Богомазам ни к чему краски

Домоседка не бранит мужа,
А соседка не клюет ближних.
Только ты мне навсегда нужен.
Только ты мне и теперь лишний.

Полководцы не хотят боя.
Иноходцы не берут призов.
Только нас с тобой еще двое.
Но один из нас уже призрак.

XI.

СВАДЕБНАЯ

Всех перепляшешь, сама — не устанешь.
Всех приручишь, заморочишь, обманешь,
Пересмеешь, переплачешь.

А там уж —
Выйдешь, плясунья, заживо — замуж.

Всех перелюбишь, за все переплатишь.
Всех переплюнешь походкой и платьем.
Всех пересилишь соперниц.

А там уж —
Выйдешь, плясунья, заживо — замуж.

Залпом запьешь и наотмашь ударишь.
Много возьмешь, но и много подаришь.
Много отнимешь.

А там уж, а там уж —
Сгинуть не жалко заживо — замуж.

1977 г.

ПИСЬМО О ПИСЬМАХ

О стиль эпистолярный! Сколько раз
Он призывал к приличью и покою!
Письмо: «Вы хам. Я ненавижу Вас».
Но — «Остаюсь покорнейшим слугою».

Старинный и прекраснодушный слог
Желал с врагом беседовать, как с другом.
Письмо: «Я Вас убил бы, если б мог!
Всецело Ваш. Всегда готов к услугам».

Я вам, отступник, не пишу письма.
Я просто так, пишу стихотворенье.
«Злодей! В вас нет ни сердца, ни ума.
Вы негодяй!

Примите уверенья
В почтении». — Царапает перо.
Я ставлю подпись: «Неизменно Ваша».
На этот раз учтивый оборот
Вполне правдив.

Но это Вам не важно...

* * *

Отцу

Луна зашла за дом.
И ум зашел за разум.
И двойственна душа.
И тройственен союз.
Лукавый старичок,
язвительный Эразм,
Дозволь, я на тебя
спросонок помолюсь.

Обузою для лба
клеймо ума и силы.
Не годен мой фарфор
для обжига в печи.
Я научусь уметь
пить кияток простылый,
Задолго замолкать
до окрика: «молчи!»

Мне тяжкий, рабский пот
прошиб сухую кожу.
Кровь маникюра мне
вольно стяжать в боях.
Давно ладонь и гвоздь —
родня друг другу.
Боже!

Пусть не моя ладонь!
Вовеки — не моя!

А в парке шел бесстыдный спорт —
Лупил какой-то старый черт
По челюсти рояля.

Обидно видеть было мне,
Как жгут в анафемском огне
Черновики природы.

Клянусь, архивы ноября
Сжигали совершенно зря
Блажные садоводы.

Но было горестно вдвойне,
Что сговорясь, как на войне,
Изничтожают Баха.

Да, он охальник, он смутьян,
Он Иоганн, он Себастьян,
Но все же не собака!

Зачем же так его лупить
Приноровился шустрый тип,
Нахал и забияка?

Большое зло меня брало,
Что это ржавое мурло,
Без парика, без фрака,

Как будто в нем гнездится бес,
Сварливой лапой бьет дизель,
Как заправской рубака.

Претерпевая сей маразм,
Я не вскричала лишних фраз.
Мне ближе к телу в этот раз
Была своя рубаха.

ПЕСЕНКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНСТИТУТА БЛАЖЕННЫХ БЛУЖДАНИЙ

Кто ты, спутник долгожданный,
Ставший плотью, бывший тенью?
Нам блаженные блуждания —
Как повторные рожденья.

Как высок воздушный замок!
Круг твоих объятий замкнут.
Залпом пьем прибрежный запах —
Юго-Запад, Юго-Запад...

Мы пойдем за караваном,
За миражем, за обманом.
Мы разыщем нашу радость —
Эльдорадо, Эльдорадо...

Будем слабы, будем стойки,
Будем в страхе и в восторге.
И перо уронит строки
О Востоке, о Востоке...

ИЗ ТБИЛИССКОЙ ТЕТРАДИ

1. ВОСПОМИНАНИЕ О МТАЦМИНДЕ

Сквозь черный дождь твоих волос
глаза сверкали, точно звезды,
и соком виноградных лоз
был напоен, казалось, воздух.

Казался неизбежным флер
тумана — так скрывали нежность
Мтацминда и фуникулер,
огни, грузинка и приезжий.

2. МАСТЕРСКАЯ

Личики, лица, трагичные маски,
морды звериные, лики святых —
все ожидало чудесной развязки
и наполняло движеньем холсты.

Плыл по течению слабенький плотик,
с девой поникшей и с гадом земным —
духа боренье с мятущейся плотью
было, казалось, волненьем моим.

Я за воскресшую правду сражался,
я наклонялся к любимой моей —
в зеркале рамы мой мир отражался,
с виду живущий судьбою своей.

Раскрепощались беззвездные ночи
и нерестились миллионы комет,
и Чукуртмы соколиные очи
к солнцу стремились, встречая рассвет.

Жизнь продолжалась, и длилось мгновенье,
не принимая оковы годов,
неудержимо, как сердцебиенье,
ясное, словно улыбка Ладо.

3. НА ПРОСПЕКТЕ РУСТАВЕЛИ

На проспекте Руставели
сто платанов встали в ряд.

На проспекте Руставели
грустных слов не говорят.

На проспекте Руставели
в песню просится мотив.
На проспекте Руставели
каждый юноша красив.

На проспекте Руставели
дарят женщинам цветы.
На проспекте Руставели
не бывает темноты.

Если повернется время,
буду по-пояс в снегу,
я в свое стихотворенье
на мгновенье забегу.

В ту зеленую аллею,
где не встретил никого.
Ни о чем не пожалею,
не забуду ничего.

На проспекте Руставели
сто платанов встали в ряд.
На проспекте Руставели
грустных слов не говорят.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад.
Одомашненный лес.
Сны железных оград,
светлый купол небес.

Льется в каждый прогал
тишина. Синева.

Этот строгий хорал
заглушает слова.
Будит внутренний слух
и сужает зрачок —
пробудившийся дух
повторяет скачок
в царство ДО ЯЗЫКА,
в мир нетронутых чувств...

И плывут облака,
и качается куст,
и ребенок бежит по траве босиком...

Все слилось, все летит,
все в порыве одном!

Соты с солнцем, дружок,
мы уносим с собой.
Шмель заводит движок.
Стынет мед голубой.

* * *

Анна, жена моя, писем помятых листки,
верю, отыщешь легко ты в минуты тоски.
Знаю, что почерк неровный прочтешь без труда,
а между тем, как вода, пробежали года.
Выучишь слово за словом, хоть писем скопилась тетрадь:
может, **ПОВЕРИШЬ** — не могут же мертвые лгать...

Буду лежать я, добро бы — зарытый в песке,
как и при жизни, к твоей—равнодушный — тоске,
занятой думой... а впрочем, вот это уж бред,
дум на том свете, конечно же, милая, нет!..

Чувствую явственно мокрую глину.
Холодом сводит предчувствие спину.

Дочь моя выросла, есть у нее своя дочка;
славная внучка, и ей три-четыре годочка.
Анною внучку мою окрестили.
Деда проведать порою приходят к могиле...

Где оно, лежбище праха, прибежище лени?!

Воспоминаний роятся безмолвные тени:
теплая кухня, откинута крышка буфета,
через открытую дверь на столе виден веер букета,
рядом из вазы соседней, как тесто, свисает сирень.
Вечер прохладный сменяет распаренный день.
Скоро уснут все, чтоб завтра с улыбкой проснуться,
мне же и набок нельзя повернуться.
Одеревенело когда-то упругое тело.
Оттанцевало. Отдышалось. Отпело.
Только в насмешку можно шептать: отдохни...

Ночи распустят пряжу, которую выпряли дни...

О Пенелопа, жена моя верная, Анна!
Что ты прядешь и прядешь неустанно
воспоминаний бессонную нить,
тщетно пытаясь мечту с явью воссоединить?!.
Ткешь без конца незримое покрывало...

Воздуха мало... о если б ты знала, как мало
воздуха здесь...

СТАРЫЙ АТТРАКЦИОН

Александр Межирову.

Репродуктор завывает,
фразы исказив на треть.
Репродуктор заывает
старый номер посмотреть.
Мотогонки... Звуки гонга...
Друг за другом по стене
двое носятся, вдогонку
эхо гулкое вдвойне
расчихалось... Был да вышел
страх у пары неземной!
Первый — круче, первый — выше,
а за ним спешит второй!
— Ай да смелость!
— Что за нервы!
— Вот отчаянный народ!
— Гляньте, первый...
Сдался первый.
Безнадёжно отстаёт.
Жуток этот промежуток.
Не игра — смертельный труд!
Сразу стало не до шуток.
Приумолк базарный люд.
Загляделись на второго,
выше, круче руль — второй...
Для чего он, право слово,
так рискует головой?!
Стоит ли для восхищенья
пестрой рыночной толпы
совершать коловращенье
с биркой беличьей судьбы?!
Для чего парадец жалкий —
съехать наземь: о-ля-ля...
Сердцу больно, телу жарко
и — качается земля.
И плывут крутые стены,
лица в круг сплошной слились...
Отдохнувши постепенно,
все равно не вспомнишь лиц,
для которых мчался, трясся
в жестком гоночном седле...
Так всю жизнь по старой трассе...
Перерыв. Парад—алле!
По стене огромной бочки —
как у бездны на краю.
Центробежной силы прочность
охраняет жизнь твою.



Камилла КОРИНТЭЛИ

* * *

Но что я унесу с собой из Крыма?

Бесконечный ветер.

И бесконечные

наплывы

облаков

На мягкое, не обжигающее солнце.

Прозрачный воздух.

Горизонт, что чист и светел.

Пустынные, открытые холмы,

Округлые,

Как груди греческих богинь.

Утесов гребни,

Изломанные, точно стены

Павших

крепостей...

Пляжи,

С загадочным мерцанием халцедонов,

Рассыпанных в песке...

И меднокрасную луну над морем,

Как циркулем, очерченную кругло.

И — диво, диво: в серый день дождливый

Прихотливый

Узор нежнейших кружев,

Сиреневых в зеленой куще, —

Тамариск цветущий!

Названья бухт — Лягушки,

Разбойничья, Барахта и —

Сердоликовая!

Чудны

Твои мне, о, Коктебель, лики!

...Я унесу с собой —

В воспоминанья! —

Безмолвие камней Чуфут-кале,

Кенасы, плиты улиц караимов —

Таинственного племени упорства и труда

Вещественную память.

И прах величия Бахчисарая...

Прощай, прощай — Коктебель,

Крым, — а может, до свиданья?..

Вернусь к тебе когда — едва ли.

Но тополя прошелестят мне на прощанье:

«Не забывай!»

* * *

А напротив меня живет живодер!

Он разводит кроликов и нутрий.

Он утрами приходит в их тесный дом

И голосом ласковым спрашивает:

«Фу, ты, ну ты,
Чего ж тебе, глупый, нужно?»
Он кормит их, холит,
Заботится денно и ночью,
Чтоб они здоровыми были,
Чтобы шибко росли,
Прибавляли в весе.
Поглядишь, так со стороны
Он что отец им родной.
А ведь только и ждет поры,
Когда можно содрать с них шкуру,
За которую знатно платят!

...И ночами, наверное, потому
Так горестно, жутко и так безысходно
Воет собака — и еще

какое-то зверье...

ИЗ «ПЕСЕН ОКРОКАНЫ»

...Когда лягут на землю длинные тени —
Когда лягут косые длинные тени...
Это час, когда в розовом флере
Отдыхают большие округлые горы,
Уставшие за день
Тревожного

медного

зноя,

И дышат медленно и спокойно.

В час, когда лягут косые тени,
Когда лягут косые длинные тени,
Ты меня не ищи:
Я уйду.
Отгорят облака...

Вечерние тени строений...

Тени ресниц

на твоей

щеке...

* * *

Там, на покосе посреди
Такое дерево стоит!..
К нему с рассвета побегу
И дикой мяты я нарву.
Цветов лиловых аромат,
Как чей-то позабытый взгляд,
Вдруг обожжет,
И память вспыхнет вдруг
И вскрикнет:
Где ты, друг?..

ВЕШНИЙ ГОСТЬ

Кто это? Кто там?
Кого вам, скажите?
Но нет никого...
Да это же ветер!
Стучит он
В мое
Окно.
Войдите же, Ветер!
Входите, входите!
Скажите мне, Ветер,
Вы тоже грустите,
Вы тоже печальны
Бываете иногда?
Вы так одиноки,
И вы одержимы
Какой-то сумбурной
Великой
Мечтой.
И взмах ваших крыльев,
Огромных, могучих,
Мне душу туманит
Тоской...
Чу, слышите? Птичья свирель!..
Послушайте, Ветер,
Да нам по дороге!
Как весело каплет
Капель!

* * *

Может быть, мне все это лишь снилось?..
И горячий песок под ногой,
И прибой голос глухой,
И лицо твое в темном окладе
Смоляных с серебрилкой волос...
О, земли той извечная милость,
Что ко мне с благодатью склонилась,
Пусть обманом — пропасть не дала!

Только ты обожди, бога ради:
Будет день — будет путь,
И у счастья найдутся запасы!
На рассвете рыбацьи баркасы
Выйдут в море...
Мы с ними уйдем.



ТБИЛИССКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Тот райский уголок грохочущей Земли...
Я молод и красив. Тиха и осиянна
Печаль души моей, и светятся вдали
Две пальмы — две сестры — Камилла и Лиана.

Лиюющий хорал галдящих грузинят.
Платан — суровый страж тропических сокровищ.
Ко мне спешит Христос, который не распят —
Веселый и худой, почти как Леонович:
Он мне сейчас загнет библейский анекдот,
Он вовсе не пророк — он здесь экскурсовод...

Я знаю — в смертный час пронзительную трель,
Как молнию, приняв из поднебесной выси,
Свободно и легко пройду через тоннель
В тот райский уголок весеннего Тбилиси.

Но мой земной удел, как видно, не таков:
Мне чудится трамплин больничного балкона,
И в сумерках меня сверлят из-за кустов
Безумные глаза — глаза Галактиона...

Тот райский уголок...
В преддверии апреля
Узреть слепящий блеск хевсурского меча
И, выкатив белки и дико хохоча,
В молчании ночей бежать по Руставели...

ПРОВоды

Проводы, проводы, проводы —
Правды в прощальную ложь:
Словно в пустыне — ведро воды —
Истину «вынь да положи»? —

Как же! — не вымолишь исповедь
Даже на смертном одре:
Вызреть раскаяньем? — выстоять,
Выжить во лжи-кожуре...

Как же я веровал, боже мой,
Этой богине огня,
Этой короне, низложенной
Ложью еще до меня!

Как же я спорил отчаянно,
Словно с мирской суетой,
С этой, которой — нечаянно —
Выпало стать золотой!..

Эти «прости» подорожные,
Слезы (как будто «на чай») —
Слишком для проводов сложные:
Истина проще — «прощай».

Проводы: не распогодится.
Понял — сегодня — сейчас:
Все параллели расходятся,
В вечности пересечась.

Номер вагона — тавро беды —
Скроют года (не беда...)
Проводы, проводы, проводы.
Оголены провода.

ОДА БЕДЕ

И взялась она откуда,
Ода матушке - беде —
Той, которая — зануда —
К сожалению, везде?
(Это ты, братишка, слишком —
И беда тебя возьми!..)
Только нас она, людишки,
Муча — делает Людьми!
А чего бы вы хотели —
Беспечальной пустоты? —
Вы совсем бы отупели,
Если б не было Беды!
Беды — битвами чреваты,
Так что будь со мной на «ты»:
Мы с тобою небогаты,
Мы, Беда — из бедноты.
Негу хлебушка ни крошки? —
Это горе — не беда!
А Беда — когда идешь ты,
Да не ведаешь — куда,
А Беда — когда комочек
Недоверия в груди:
Невесомый — между строчек,
А попробуй — победи!..
Тем, кого она ласкала,
Не жениться никогда —
Всех подружек распугала
Раскрасавица Беда!
Нынче — воющая вьюга,
Завтра — знойный суховей...
Непременная подруга

Поздней радости моей —
Славься, Лада Бедолага —
Многодетная семья:
Что ни доченька — Отвага,
Все — Солдаты — сыновья!
Тоже надо ей кормиться
И бедят своих любить,
Так что, коль она случится —
Значит, так тому и быть!

Мы живем — и в ус не дуем,
И не думаем тужить,
А Беду — перебудуем,
Уцелеем — будем жить!

СОЛОВЬИ

Застыли, словноobeliski,
Воспоминания мои...
Всю ночь на кладбище неблизком
Впотьмах рыдали соловьи.
Всю ночь не прерывался, длился
Любви дрожащий голосок.
А мне казалось — поселился
Зловещий в комнате сверчок
И ночи напролет стрекочет,
Напоминая соловья.
Я говорил: «Чего он хочет,
Слепой гонец небытия?»
Я говорил «memento mori»
И, словно ворон «nevermore»,
Кричал, что загорится море,
Потом наступят глад и мор,
Что надвигаются проказой
Кровопрлитные бои...
Но ты — светла и синеглаза —
Все повторяла: «Соловьи...»
Я видел черные провалы
Глазниц пылающей змеи,
Когда меня ты обнимала
И все шептала: «Соловьи...»
Да будь я четвертован, проклят
И никогда не вознесен
За этот соловьиный рокот,
За этот соловьиный сон,
За то, что просвистело мимо
Любовной трели острие —
Немыслимо, непостижимо,
Как одиночество твое...
Теперь зима — и ледяною
Крупую замело налев.

Промчалось лето надо мною,
Глухого сердца не задев.
И наши мысли, наши чувства
На тишину обречены,
И в сердце холодно и пусто,
Как после атомной войны.

* * *

И на исходе Чуда
Оборвалась звезда...
Женщина, ты — откуда?
Женщина, ты — куда?
Соткана вся из боли —
Даже в улыбке боль —
Бросила ты — того ли?
Выбрала ты — того ль?
Чья ты — того? другого?
Кто же он все же — «тот»?
Скальпелем бестолково
Чей уничтожен плод?
Боже мой, ускользаешь,
Перерастаешь в бред —
Только одни глаза лишь —
Невыносимый свет:
Это, прорвав глубины
Вспышкой высоты,
В поисках Половины
Мечется Ползвезды...
Оборотень?
Клубочек
 нежности? —
Нет — змея!
Кто ты, исчадьё ночи?
Чья ты?
— Молчи, твоя...
Всею своею болью,
Наперекор всему,
Всею своей любовью —
Ненавистью — к нему —
Всею — во имя сына
Боли и пустоты!..

В поисках Половины
Мечется Ползвезды,
Слепо
 врезаясь
 сразу
В тысячи половин...
Женщина, где твой разум!
Женщина!..

Я — один.



ВУЛКАН ТЯТЯ

Рассказ

Вулкан извергался. Столб плотного пепла вознесся в небо на несколько километров. Черная шапка на нем медленно расплывалась в гигантскую тучу. Дьявольскими языками непрерывно вылизывали ее вертикальные молнии.

Люди срочно покидали остров. Аэропорт был забит, штурмом брались теплоходы. А они радовались, что повезло.

Сто шестьдесят лет бездействовал вулкан Тятя и вдруг ожил, будто специально для них. И они мгновенно перестали думать о себе. О себе как о двоих. В этой стихии гула, пепла, молний для нее сразу отошла на задний план мечта остаться с ним вдвоем. Хотя она рвалась к этому. Вся-то их поездка и была задумана ею, как средство уединиться. Уединиться, чтобы взгляд, прикосновение, слово не под контролем, конечно же, осуждающим контролем коллектива. Ведь Ирина твердо решила увести Алехина от жены, и в институте — наблюдали.

Беспосадочный полет Москва — Хабаровск. Пересадка на другой самолет, и через два часа — Южно-Сахалинск. Здесь их группе, состоящей из геологов, следовало разделиться. Одна часть отправлялась теплоходом к Северным Курилам, они двое — самолетом в Южные.

Наконец вдвоем. Не слоняться стадом по городу, не оглядываться, не ждать, не разыскивать кого-то, не догонять. Вдвоем.

Но Южные Курилы встретили их извержением. Тут-то они и забыли о себе. Добраться к вулкану. Добраться к вулкану. Им, изучающим закономерности рудоотложений, сама природа дарит такой случай. Они смогут отобрать свежайшие пробы, получить уникальнейшие данные. Казалось, только это и важно, только, это и нужно. Ничего кроме сейчас для них не существовало. Желание было единым.

В эту ночь из Южно-Курильска к месту извержения отправлялось научно-исследовательское судно. Опять они оказались среди людей. Было решено с отрядом вулканологов высадиться в районе эвакуированного поселка, поблизости от места извержения.

Клубы пепла, поднимающиеся над жерлом, относило в сторону их судна, и они оказались в зоне сильнейшего пеплопада. Как из распахнутых закровов, сыпался с неба пепел — мельчайшие зернышки растрескавшейся породы, колючие, острые, как наждачный порошок. Пепел густым слоем покрывал судно, въедался в кожу, царापал. Беспреостаннные молнии, громовые разряды.

Почему Ирина выбрала Алехина? Да разве это можно объяснить. Красив, умен, талантлив? Не в этом дело. Она всегда была слишком требовательна. Просто, для нее он стал единственным. Она всех раскидала для него.

Свела их интереснейшая научная проблема, над которой оба работали. — связь рудоотложений с явлениями новейшей тектоникки и современным вулканизмом. Постоянные экспедиции — Приморье, Средняя Азия, Восточная Сибирь. Он переманил Ирину в свой институт, она стала работать в его отделе. Оба начали докторские. Она оказалась в хвосте, и не удивительно. Самым главным для Ирины стала необходимость быть незаменимой в его работе — работе бешеной, страстной, доводящей до фанатизма. Это-то и привлекало ее к нему. Ничего кроме работы! Она знала, на что она шла.

Они работали тогда на Челекене. Жили в палатках. Он заболел, отравился консервами. Дикая боль. Температура сорок. От больницы категорически отказался: «Само пройдет». Не проходило. Провалился неделю. Ослаб. Ирина выхаживала его. Как маленького, кормила с ложечки. Стал он ей особенно дорог. И как-то так случилось, что все перешло в любовь. Все эти полгода на Челекене им было хорошо вместе. И чем дальше — становилось лучше. Он был ее мужчина.

Жена. Алехин никогда не говорил о ней, это было его табу. По-видимому, жена не мешала ему. Но для Ирины постоянно присутствовала. Особенно в Москве, когда она понимала, что каждый раз от нее он возвращается к жене. Поспешный взгляд на часы, торопливые сборы, никакого прощания — уход. В отъездах возникала иллюзия, что их только двое, и потому каждый раз окончание экспедиций становилось для нее пыткой, которую она побеждала уверенностью в себе. Ирина не ревновала Алехина к жене. Ее чувство нельзя было назвать ревностью, это было нечто иное, скорее обида, не за себя, за Алехина, за его двойственное существование. О двух своих сыновьях Алехин тоже не рассказывал ей. Да и когда было рассказывать? В сутках слишком мало часов. Наука заполняла, захлестывала, поглощала. А в любви им и о самих себе некогда было поговорить. И вообще он не любил разговоров: «Ненужная трата эмоций, все ясно и так».

С судна не просто было обнаружить место, выбранное для высадки. Вулкан Тятя и все его окрестности укрыла густая пепловая пелена. Опять они были застигнуты сильным пеплопадом. И только к вечеру этого дня Ирине и Алехину с отрядом вулканологов, наконец, удалось высадиться. Ночевали в эвакуированном поселке, покинутом не всеми, в основном женщинами с детьми, в освобожденном и комфортабельном доме, опять всем скопом. Вулкан продолжал извергаться, вы-

брасывая огромные столбы пепла и газов. Гул, грохот, временами взрывы, грозовые разряды.

Ревность Ирина тоже иногда испытывала. Но какую-то странную... Будто ревновала его к самой себе. Он часто говорил ей: «Четко ты умеешь работать. Любуюсь». Или: «Ты замечательно отредактировала мое введение». Или: «Я прочитал твою главу. Как независимо ты мыслишь! Как смело думаешь. Молодец». А она возмущалась: «Ты любишь, как я работаю, но не замечаешь, как я выгляжу и что у меня другая стрижка». Или: «Ты оценил мою редактуру, но тебе безразлично, идет ли мне мой французский свитер». Он всегда только отшучивался: «Все это подразумевается». Бывало и другое: как-то приехали к ней родственники, и свидание с Алексиним (их *tete-à-tete*) Ирина устроила в квартире подруги, не институтской. В институте она не завела бы интимной подруги. Устроила свидание и — раскаялась. Не очень-то ей было приятно, когда там он вдруг оценил висевший в ванной комнате кружевной халатик, а потом и пестрый пончо, будто нарочно брошенный подругой на кресле. Смешно, но в квартире Ирины он никогда ничего не замечал. Хотя, пожалуй, нет, один раз все-таки заметил — изречение. Она держала на своем письменном столе перепечатанные на карточку слова: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться и бросать, и опять бросать, и вечно бороться... А спокойствие — душевная подлость».

«Вот это мне нравится». — сказал Алексин. «Не удивительно, как-никак все-таки Толстой» — ответила она. «Я не текст имел в виду, а факт. То, что ты держишь это у себя». «Негодяй!» — с нежностью подумала тогда Ирина.

Вулканологи, уже в поселке начавшие наблюдения за вулканом, намечали дальнейший план действий и маршрут. Их Главный заявил, что женщин (вместе с Ириной их было четверо) в маршрут к вулкану ни в коем случае не брать. Слишком тяжел будет путь, опасен подъем к кальдеру, спуск, и не для женщин такая физическая нагрузка. Алексин не вмешивался. Но Ирина стала уговаривать Главного.

— Разве вы меня не знаете? Вы же не могли забыть нашу совместную работу на Камчатке? Помните, наш путь на лыжах к извергающемуся вулкану? Я же не отставала от вас. Забыли черную пургу? Я вынесла все это. У меня есть опыт. Или вы забыли, как там же, летом, двое суток без воды, я отбирала на вулкане пробы газа? Правда, он тогда бездействовал. Я даже не спустилась к вам в лагерь. Забыли?

Он все прекрасно помнил. После долгих пререканий, наконец, Главный согласился взять в маршрут Ирину, с условием, что она понесет рюкзак такой же тяжести, как и мужчины. Женщины ей не завидовали. Алексин молчал. И что бы он мог сказать?

Утром группа из восьми мужчин и Ирины направилась к подножию вулкана. Путь лежит берегом океана. Здесь всегда угроза, что тебя смоем волной. Дальше трудно преодолимые скалы, с непроходками. Дальше, в глубь тайги, к зарослям бамбука. Подъем, подъем, подъем. Ноги увязают в рыхлом

пепле. Пепел покрыл деревья, сползает с ветвей, сыплется за ворот, проникает под одежду, натирает плечи под лямками рюкзака. Пепел в глазах, во рту, в носу. Жажда. Напиться невозможно, ручки засыпаны пеплом, шлаком, обломками породы. Воды нет.

Только уже когда расположились на ночлег, Алехин по лисьим следам, хорошо отпечатавшимся на свежем пепле, нашел чуть откопанный зверями небольшой снежник с капелью. Он с трудом нацедил две литровые фляги мутной, грязной воды.

— Несчастные звери, — говорил он, — убежали с обжитых мест, из своих нор, с детенышами, напуганные, растерянные...

Воду вылакали захлебываясь, даже не подумав вскипятить.

Три дня такого пути, и на четвертые сутки они поднимаются, наконец, к кальдеру. Взрывы заметно ослабли. Но отсюда хорошо наблюдать извержение. Оно взрывное, и не из центрального кратера, а из вновь образовавшихся на склонах вулкана. Клубы пепла и пара продолжают выделяться. Громадные их тучи прорезают молнии с громовыми разрядами.

Нет, никогда не забыть Ирине алехинской защиты. Столько душевных сил стоил ей этот день. Она помогала ему переливать главы, сверяла перепечатку, проталкивала публикацию реферата, сама его всем и всюду рассылала, обеспечивала присутствие нужных людей. Готовилась к этому дню как к собственной свадьбе.

На защите Ирина в первый раз увидела его жену. В актовом зале они оказались почти что рядом. Все же пригласил. Никакая! Серенькая птичка. Ничего примечательного. Разглядывать жену Ирине было неудобно. Но ее как магнитом притягивало. Бесцветное лицо. Родинка на левой щеке, выпуклая, как маленький черный жучок. И что он мог найти в этой женщине?! Ну ничего, ничего в ней не было.

Защита была горячая. Отзывы оппонентов довольно-таки сдержанные, в ученом мире не сразу принимают то, что ново, самобытно, нарушает установившиеся представления. Сотни вопросов. Возникла целая дискуссия. Ирину бросало и в жар, и в холод. Как он отвечал! Спокойно, коротко, четко. Наповал. Жена сидела совершенно безучастно, будто все, что происходило, ее не касалось, не интересовало. И только поглаживала старинную камею на руке. Руки, правда, красивые.

После защиты многие подошли к жене поздравлять. Еето за что?! Ирина чувствовала на себе наблюдающие взгляды институтских. На банкет, его устраивали в институте, Ирина не пошла, и он не задержал ее. Уже потом, Ирина раскаивалась за эту свою малость. Она-то ведь знала институтские разговорчики: «Алехин никогда не уйдет от жены». «А вот и уведу!» Тут-то и надо было ей остаться.

После защиты они не виделись, на три дня он уехал, чтобы отпраздновать с фронтowymi друзьями. А появившись, как ни в чем не бывало, опять потребовал от нее работы. И тогда она пришла в ярость: «Довольно! Что тебе еще нужно от ме-

ня?!» Он: «Твою докторскую». Она: «Не дожدهшься. Я че ты. Мне она не нужна». Он: «Обязательно дождусь». Она: «Подумайте, какая забота обо мне!». Он: «Ты слишком мнительна. Не о тебе. О научном направлении». Обрезал и принялся изучать таблицы с ее данными.

Ах, так! Ну, хорошо же. Баш на баш. «Больше ты не придешь ко мне». Какое-то время казалось, что она гибнет. Он оставался тверд. Но она понимала, что и ему тяжело без нее. Поездна на Курилы решала все. Как же он радовался, что они едут вместе!

На третий день взрывы прекратились. Вулканологи решили сброситься к воронкам взрыва на северо-западный склон. Алехин с Ириной на юго-восточный, к вновь образовавшимся кратерам. Разделили продукты и разошлись. Наконец вдвоем! Но где? У раскрытой пасти живого, действующего вулкана.

Двигаться тяжело. Ступают по раскаленному шлаку. Горит резина подошв на их сапогах. Трудно дышать от выделяющихся газов. Они начинают отбирать пробы конденсатов, фумарольных газов, возгонов. Работают, совершенно не думая о том, что в любое мгновение может произойти новый взрыв. Но больше трех часов выдержать невозможно.

Спускаются в узкую лощину, стаскивают в нее рюкзаки, спальные мешки и собранные пробы. Все-таки хоть какое-то укрытие. Хотя и лощина-то возникла из этих огромных глыб, потому что их только что сюда набросало. При новом взрыве здесь не спасешься. Но сейчас они не думают об этом. Натягивают тент. Отыскали снежник. Разжигают костер.

Наконец вдвоем. Право побыть вместе она отработала честно. Сегодня ее ночь. В этом каменном гробу их первая любовная ночь после разлуки. День их рожденья. Наконец-то! И все вокруг как при начале мира. И она торжествует женскую свою победу, и все существо ее полно ликования. «А вот и увела, а вот и увела». И в душе звучит Даргомыжский: «Нас венчали не в церкви...». «А вот и увела!».

Короткий сон. И утром снова к кратерам за пробами. На этот раз отбирают свежие пеплы, шлаки, вулканические бомбы. С небольшой передышкой работают дотемна. Собрали столько, что трудно поднять. Ирина стонет:

— Больше не могу.

Но Алехин верен себе:

— Ничего, ничего, сможешь. Кажется, ведь ты помоложе меня.

До глубокой ночи отбирают пробы. Решают завтра поработать еще день, а потом сброситься к океану. Под утро начинается дождь. Поднимается тайфун. Погода ничего хорошего не сулит, кажется, испортилась надолго. Они уже совсем промокшие. План нарушен. Здесь, на Курилах, диктует природа — и надо немедленно убираться. Сброситься к океану?.. Тайфун — смоег волна. Они выбирают менее опасный, но более длинный и более тяжелый путь по тайге.

Нагруженные до предела пробами, насквозь мокрые, они еле двигаются, по колену проваливаясь в пепле. Тайга неузнаваема. Это пепловая пустыня. Оголенные белые остовы деревь-

ев. Кора их, как наждаком, срезана пеплом. Иногда просто обугленные стволы. И все вокруг здесь будто бы до сотворения Земли или уже после ее гибели. И мучительное чувство одиночества охватывает Ирину. Что с ней происходит?

Бредут они под тяжестью ноши, как выгнанные из рая. Бредут они, бредут, и мочит их дождь, и гонит их ветер. И ей начинает казаться, что уже целую вечность так они бредут, и нет конца пути, и так всегда будут они брести, и это наказание им за грехопадение. Такой одинокой, такой ничтожной кажется она себе перед бесконечностью пути, перед величием стихий земли и ветра, пепла и воды, жизнью и смертью. И стыдно ей становится за свою человеческую малость, за себя со всеми своими слабостями, самолюбием, кичливостью, со всем, что было в ней, есть и будет всегда, как пепел облепило, проникло в нее, колет и трет, и щекочет. И ветром его не обдуть, и дождем не смыть. Бредут они вдвоем, и ей начинает казаться, что она одна на целом свете. Одна, затерялась среди пепловой пустыни, и от смертного страха в ней стынет кровь.

Они идут уже более суток. Делают малые передышки, чтобы больше пройти. Дождь и тайфун не стихают. Идут насквозь промокшие, заледеневшие. И наконец у Ирины начинается переохлаждение. А что это такое, хорошо известно, чуть замешкаешь — неминуемая гибель.

Остановились. Алехин снимает с нее рюкзак, а она уже еле держится на ногах. Необходимо хоть какое-то укрытие, чтоб уложить ее и согреть. Он отыскивает лощину, натягивает тент, разводит костер. А ей все хуже и хуже. Она почти теряет сознание. Он начинает растирать Ирине руки, ноги, тормошит ее.

— Милая, очнись! Ну не надо, не надо. Ты такая сильная!

И когда сознание возвращается к Ирине, она слышит, как он, растирая ее и тормоша что есть силы, бормочет:

— Милая, вот видишь, видишь, все пройдет, все будет хорошо. Зато, какие шробы мы с тобой отобрали. Теперь у нас есть все для твоей докторской.

— Все пройдет. Сумасшедший. Мне-то она на что...

— Дура, ты же — ученый!

Алехин укладывает Ирину в промокший спальный мешок. Он пуховый, и потому в нем все же теплее. Он вливает ей в рот горячий кофе, и постепенно она начинает отогреваться. Ей становится спокойно, удивительно легко, так, словно она медленно куда-то уплывает. А он сидит над ней на карточках и продолжает растирать ее всю, поверх мешка. Потом опять начинает растирать ей нос, щеки, которые уже горят. Она отстраняется, и тогда он, не отрывая рук от ее лица, начинает гладить его нежно, нежно, чуть касаясь пальцами. Она настоужилась. И постепенно начинает ощущать, что так осторожно, так нежно, незнакомо нежно, глядя ее, он будто хочет что-то ощупать на ее лице, отыскать.

«Никакая! Серенькая птичка. Бесцветное лицо. Родинка на левой щеке». Значит спутал! Проверяет — цела ли, не

уполз ли черный жучок. Помнит. Помнил всегда. И всегда будет помнить!

«Не увела. Не уведу. Никогда. Никогда». Как будто молотком кто-то вколачивает эти слова. И она проваливается в сон.

И вдруг слышит голос Алехина:

— Мы проспали восемнадцать часов! Слышишь взрывы? Опять извергается. Мы живы! Мы спаслись. Тайфун стих, дождя нет. До заставы меньше двадцати километров. — Он пытается высвободить ее из мешка;

— Милая, слышишь взрывы? Мы живы. Мы спасены. Ты удивительная. Цены тебе нет. Да, да! Тятя обручил нас. Навсегда.

«Тятя! Тятя! Наши сети притащили мертвеца». Ирина прислушивается к себе.

— Слышишь, слышишь, взрывается?.. — тормозит ее Алевин.

— Да, да... Никогда. — отвечает она невпопад...

ВЕСЕЛЫЕ!

(ЗАКУЛИСНЫЙ ЦИКЛ)

*Ой вы гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливы-очестливые;
Они взглянут — улыбнутся,
А отвернутся — рассмехнутся...
Ой вы гой еси, скоморохи...
Вы много по земле ходоки,
Вы много всем скорбям знатоки,
Вы скорби ухаживате,
А недуги угovarивате...*

БАЛЛАДА.

*Веселье по улицам похаживают,
Гудки и волынки понашивают,
Промежду собой весело разговаривают:
Да где же веселым спать-ночевать?*

ПЕСНЯ.

АФИША

Вечерние рукоесла,
Избыточнейший режим,
Где в ведрено и в промозгло
Ишачат со всех пружин.
Сноровка твоя — утайка,
Театр. И дппрежь того —
Афишная угадайка,
Заочное сватовство.
За что меня соблазняешь
Блукать по торгам реклам?
За что не обороняешь,
Когда устремлюсь в бедлам?
За то, что продукт распада
Подопытной мутоты —
Бестрепетное, как Спарта,
Сознание правоты:
Впиваться в один напиток,
Хлебнув изо всех посуд.
Попыток-то не убыток —
Веселый, не обессудь!
Впиваться в анонс примерзлый,
Хлебать за семь верст кисель...
Вечерние рукоесла,
Перпетуум карусель!

РЕПЕТИЦИЯ

Злокозненно куснет, целуя в губы,
Рефрен запетый: «Что ему Гекуба?».
Невежество сомнению — рессора,
И гамлеты — плохие режиссеры.
Но те, кто прорицает с полумата...
И впрямь, чего они не понимают?
Что действует закон интерпретаций:
С покойником о бренном не трепаться?
Как близорукий зрак от стекол Цейса,
Апостольское кредо лицедейства
Зависимо в условности кулис
От наибольшей условности формата
Страницы, где означил виновато
Количество джиптрий окулист.
Хоть сам-то он, возможно, дальноророк,
Но убиен был в возрасте под сорок —
И взятки гладки. Но житья не даст,
Что дьявол инсценированный, мерин
Из первых рук им до хвоста промерен,
А был он в вычислениях горазд.
И кто впервой — не граф ли Шереметев
Восстал, сию зависимость заметив?
Лаская инженерюшку крепостную,
Терзался: «Я не сяду одесную!»
...И, одурев под критиканский хнык,
Дозволить Федре на двадцатом дубле:
«Придуривайся! Нас никто не любит,
Гомункулов, лжедмитриев, ханыг»...
Оспаривая доброту, как йогу,
Утешиться, что это все про Бога,
А Бога нету. Но житья не даст
В болтанке конформизма оголтелой
Хрестоматийный призрак Галатеи
И простодушья чопорный каданс.
...Но исцелиться Целью, впав не в детство —
В апостольское кредо лицедейства.

ТЫ И Я

Весело ль тебе, веселый,
От сего от всего,
Что промежду нас оседло?
Мне — зело веселó!
То-то голову ломаешь,
Моим вымыслом шурша, —
Вроде что-то понимаешь...
Лично я — ни шиша.
Это, знаешь, как бывает? —
Погоди, я сейчас...
Это, брат, обурекает,
Из-под нёба сочась...

Это скрутит и конает
Волоком по целине.
Это дьявол только знает:
То ли так, то ли нет.
И в запале раз от раза
Глубже в воду концы...
Неподвластная зараза
Вне прививок и вакцин.
Это истина с налета,
Это ужас как легко
В занавесе переплета, —
Вот какой коленкор.
Полигон без репетиций,
Неуимчивая желчь.
Ну, а если возвратиться —
Чтобы печку разжечь.
Ах, веселый, мой хороший!
Как бурсак под лозой,
Что ты плачешь понарошке
Глицериновой слезой
Над потугою соловой,
Над знаменьем в бороде?..
Спаси Бог, чудака-веселый,
Пособил, порадел!
А как выдалось при свечке —
И никто не прервал —
Одно самое словечко —
Ты его переврал.

КОРДЕБАЛЕТ

Поздравствуйтесь с Праматерью —
Ладошки пирожком, —
Насульте повнимательней
Чело под паричком:
Вы тоже дочки Евины,
Крутые костяки.
А что клеймены — эвона,
Какие пустяки!
В гримерной, будто в ризнице,
Уже нездешня пыль.
Притворы и капризницы!
Надеть епитрахиль!
Заушины подушные
И ставки мизерабль —
Но вы меж жен допущены
В алтарь и на корабль.
С заскоками, скандалами,
С булдой, что дал завлит,
Со всеми причиндалами
Спасенье — вас любить.
За то, что, пусть зашипаны,
Пусть сквозь содомский грех —

В исподнем беззащитные,
Как вас любил Лотрек.
В гостиницах с клопищами,
В хмелю, когда невмочь,
В могилках за кладбищами,
От праведных обочь,
Где червь уловлен курами
И «брысь!» звучит как «бис!»,
Где всех Моцартов уровень
И всех самоубийц.

МЕЛЬПОМЕНА

О, нарядец кургузый!
Прейскурантец случайный!
Бутафорская муза,
Муза песни печальной.
Сплошь излишня, как третий,
Муза склочек бесплатных,
Муза платных трагедий
В кабарешках заштатных.
Как Страстную неделей,
Каждый шов измочален.
Но на самом-то деле —
Муза песни печальной.
Маска, будто от гнуса,
Меч порукой двуличья —
Костюмерная муза,
Муза жизни публичной.
О, кумирня обмана!
Правда здесь — чрезвычайность.
Но в разгаре канкана —
Нота песни печальной,
За которую клянчит
Под звонок контрамарку
Предводитель команчей
Со своею товаркой.
Муза в гиблом режиме
Обуявшей халтуры,
Муза в вечном зажиме,
Ибо дура — фактура.
Так и рвется, где тонко,
Хоть под бархатом рытым.
А родить ребятенка —
Что сыграть Маргариту.
Растянула, как лузу,
Душу тягой кабальной
Неизбежная муза —
Муза песни печальной.

ЗЕДАЗЕНИ

Клубилась пропасть под моей ногой,
когда я замер вдруг на этом гребне.
Величественно таяли деревья,
успев возникнуть в пустоте парной.

Округлый вход в сырое никуда.
Нет, выход из сырого ниоткуда.
Молочная, летучая вода,
бессмертных черепков слепая гряда.

Размытых контуров сырая пелена.
Провал портала тает, не зияет.
Ты говоришь: старинная стена...
Зрачок не видит, только различает.

Ты говоришь: не видно Джвари, жаль...
Не видно Джвари — ну так и не надо.
Ты посмотри, какая нам награда —
Картвелии туманная печаль!

И я поверил медленным холмам,
я их покоя словом не нарушу.
Повсюду пробирается туман,
и влага обволакивает душу.

(Сагурамо, 8 ноября 1977 г.)

* * *

В ночи горит решетчатый квадрат,
и башня светится Кузнечная и тает,
и чью-то жизнь за ужином решает
колючих звезд ночной триумвират.

Кто ты, счастливец?

Неудачник, кто?

Моя звезда мне светит в полнакала.
И носится по ободу бокала
печальный блик, вмурованный в стекло.

* * *

Не умолкает в сумерках поток,
негорькою полынью пахнет небо.
И Тютчева прохладный шепоток
мне веет легким ощущеньем снега.
Здесь, у реки — покой и благодать:
чего желать? о чем еще гадать?

Но к зелени чернеющих ветвей
я подхожу тревожно и устало.
Ни помощи, ни нежности твоей
уж не спрошу, как некогда бывало...
И женщина гадает по руке —
а я впервые в жизни в тупике.

Нет света в обозримом далеке:
судьба не дождь, а хлесткое теченье.
Виновных нет, но есть напор в реке,
а нет вины — так нет и облегченья...
В припоминанье нежном о тебе —
что толку выговаривать судьбе?

Ведь было счастье на моем веку,
над крышами плескалось черноточье!
Я нежную выискивал строку,
и мы блаженством грезили воочью.
Нас каждый обнадеживал листок,
и счастья, мнилось, только лишь исток!

Но предстоит неслыханный оброк
тому, кто влаги той глоток один пригубит.
Блаженство не накапливают впрок —
ему лишь подставляют жадно губы!
Я жизнью отвечаю за строку —
и лишь тебя я счастьем нареку!

(Ош, 13—17 июля 1977 г.)



ГРУЗИЯ

Мы мчимся в апрельском автобусе тряском,
и солнцем дорога дневная размыта,
и хочется думать, и сразу — о разном, —
такое пространство внезапно открыто.

Оно высоко поднимается, круто,
оно расцветает, назад улетаю...
И жизнь называется словом «минута»,
и эта минута такая простая.

Где дремлет всевидящий Светицховели,
где плавный восход его кажется резок,
мгновенье — у глаз вековых на прицеле:
вот-вот они глянут пронзительно с фресок!

* * *

Тягучий — о том и о сем — разговор,
привычное марево быта.
Из полуподвала — окошко во двор.
Семь лет, как война не забыта.
Пусть открывается детство твое
мелодией светлой и грустной.
На кухне тяжелое сохнет белье
и дух обитает капустный.
Едва ты шагнешь — половица поет.
Еще необъятна квартира,
не странно еще, что все дни напролет
повсюду ненастно, и сыро,
и сумрачно... Гулкий слепой коридор
ведет свой рассказ бесконечный,
и замкнут еще предстоящий простор
на ветер попутный и встречный.
И там, где за чуткою дверью твоей
доверятся клавиши пальцам,
где — дверь отвори, и приди, и владей
летающим шопеновским вальсом, —
так явно и резко начало пути
очерчено — некуда деться...
И все-таки ты повторяешь: свети,
далекое, зыбкое детство.

* * *

Весна прошумит и прошепчет —
и эхо взойдет, как росток,
и зимнюю землю излечит
апреля студеной глоток.

Но дело, конечно, не в этом.
И даже не в том, что рассвет
земля именуется рассветом
с глухих, незапамятных лет.
И дело не в том, что разливы
прекрасны — ночей или дней, —
а в том, что мы живы — мы живы! —
не зная о смерти своей.

* * *

Воробьи распеваются, небо светло и прохладно...
Поскребет по асфальту лопата — и время уйдет,
и просохнут следы на полу в полутемном парадном.
Слово за слово прятаться станет весь день напролет —

ничего мы не скажем, сказать — ни о чем не забудем.
Воробьиная песня как зарево над головой —
разрастается, рвется — но город еще непробуден...
Бесконечное утро. Домов черно-пепельный строй.

Поднимайтесь, ступени! Ведите туда, где отныне
никогда не бывать мне, где вдох и прохладен, и чист,
словно первое слово, что тысячелетия стынет —
позабывтое... Время промчится — останется свист.

Как вернуться — вперед, где причина рождения выше,
чем сегодняшний свет? Как мне времени грани свести
воедино — под небом, которое памятью дышит
и пытается землю от памяти этой спасти?

Поднимайтесь, ступени! Чем круче подъем, тем вернее.
Ненасытна любая дорога, которой идем.
Тишина наливается медленным соком и — зреет,
размышляя о звуке далеком, о слове простом...

* * *

Когда заснешь до полусмерти,
нахлынет утро и спасет.
Дороги горной милосердые
ведет к последней из высот.

Ни шагом не солгать, ни жестом.
Пружинит — на ветру — туман.
В движении прямом и резком
не может прятаться обман.

Все выше, выше... Тесный воздух
уже подвижен, разрежен.
И ветка высохшая — посох,
и небо с четырех сторон.

Обрыв раскатистый и зычный —
как продолжение пути.
И чувств простых косноязычье
живет и требует: лети!

Поток пространства — боли свежесть —
нагнуться, зачерпнуть, испить...
Произнесенной стала нежность,
а слово надо искупить.

* * *

Упругий звон да серый блеск...
А время-то идет.
Не пилится упрямый лес —
из-под пилы растет.

Его стволов не сокрушить,
пока — один за всех —
он защищает право жить,
как самый смертный грех.



ПАВАНА МАВРА

Из книги притч «Камни, цветы и змеи»

Когда я был маленьким, мне казалось, что мама любит меня. Я сидел на окне и глядел на тень детства, по которой шла сюда мама. Я ждал ее особенно горько в этот день. Она обещала подарить акварельные краски. Это всегда была самая глубокая мечта. Мне казалось, что я страдаю без мамы. Я думал, что сегодня и никогда не будет красок. Вечер наливался тьмой комнаты. Я знаю, я ждал маму так, как сейчас иногда почему-то все еще ловлю отголоски чужого счастья. Но чудо случилось. Иногда оно набухает, разрастаясь цветком. Мама подняла утро над головой. Я задохнулся от горячего чувства одиночества. Счастье дрожало от зимы. Кровь счастья была в моем теле холодной. Мальчик всегда боялся взгляда мамы в декабре. Я приделал к стеклу маленькую елку, чтоб войти в царство жизни, застудив руки, оснежив их. Я был елью в снегу и блистал искрами тумана. Я не хотел оставаться мальчиком. Мое обнаженное тело становилось заброшенным среди людей, и только голова почему-то все еще звалась мальчишеской. Может быть, мамин взгляд не давал погибнуть ей в лесу. Сегодня тоже праздник, и я думаю, что кто-нибудь из моих друзей возродится как и я давным-давно. Красноствольной сосной в ледяном поле, что скрипит как снег на морозе. Раз мама уже никогда не сможет глядеть открыто, огромные крылья мамы навсегда подрезаны ножом. Не глядите сегодня в ее лицо, на зерна, из которых буйно растут морщины, не бейте вдохновенное лицо. Легион влюбленностей обагрил тьмой ее щеки. Она была пятидесятилетней и обладала горлом девочки, подаренным художнику, что стал моим отчимом при дышащем отце. Отчима выгнали из Академии художеств, и он сделался мальчиком на побегушках в театре, где играла мама. Мне приходилось гордиться той обнаженной ролью. Это был Серафим, деревенский парень с чистой, незамутненной душой.

Многое в нем чудилось от великих итальянских мастеров. Он десять лет был безмолвно влюблен, а потом вдруг в один прекрасный день, краснея от смущения и бледный, он ринулся за кулисы к моей босоногой маме, одетой в голубой хитон, и бросил мятую записку в светлую ладонь. В этот час се-

дой мой папа покупал на базаре розы для своей вечно возлюбленной из театра трагедии. Я тогда оказался отнятым у муз. Они боялись меня. Они коснулись моего чистого, ослепительно чистого лба добела раскаленным клеймом неудачника. Ночь обещала быть подернутой запахом беды. Я на миг вбежал к маме, чтобы поздравить влюбленную девочку и накликать ей снежного счастья. Венецианский гений углем рисовал мамино сердце. Мастер завалил мастерскую легкомысленным ее взором. Мне подали борщ. Я не стал его есть. Уголь ходил по белому сердцу мамы, оставляя жадные следы. Я хотел вытравить эти раны горьким поцелуем, но губы мои высохли оттого, что я отвергал мамин обед. Обед был ни в чем не виноват, а его преступление в том, что от него исходил такой же запах, что шел от родного брата этого борща сто лет назад, когда наша семья еще не разбивалась на окровавленные кости. А папа читал газеты и обмакивал фамильную ложку в сегодняшний борщ. Сгусток горячей крови как тело Христово застыл в моем раздробленном горле. Детская слеза оказалась смертоносной. Мама долго бежала за мной. Я надел бездарное пальто из комиссионного магазина, я купил его по дешевке в тот день, когда догадался, что никогда не стану Тютчевым.

Я говорю о зимнем, снежном окне, на котором росли мои святые поцелуи. Елки выкрали однажды из моего рукава страну голубых снегов. Я болел. Это была превосходная защита от голодных волков дружбы. Солнце в моей разгромленной комнате гремело пустотой. Мама стояла над горящим кустом и запрещала мне растить на моем худом сердце пахнущую хвоей еловую шишку. Дети, гуляющие в светлом лесу, замрут от дерева с головою мальчика. Их напугает радостный запах дыма из моего рта. Мама страдала от моего затмения. Она звала сына обратно к белой скатерти, от которой отрекся наш ослепительный и благородный отец.

— Музыка всегда страшная, — сказала мама. — Зачем ты выбрал Малера? Ты хочешь убить меня?

Музыка была ночной. Всегда погибал в адажио композитор. Он тонул невыразимо красиво в воде безнадежного отчаяния.

— Где папа? — вдруг засмеялся я и стал глядеть из-под ладони куда-то в сторону слепого горизонта и слушал, как настойчиво поет метель над городом.

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспомоществе ночная песнь поется.

Я стоял на темной улице, против парадного и решетки, где за облаком пил вино мой влюбленный в Дульсинею отец. Цветные огоньки мучили папу. Дульсинея в алом кимоно отрастила кошачьи, острые когти в сторону восходящего зимнего солнца. В стакане пылал серебристый запах года.

— Любовь! — бормочет папа, и венец мученика загорелся над его лысиной.

Женщина обнимает его ладонь. Мне никогда не вернуть капитана на наш пустивший течь парусник, что плавно погружается в багровое море заката.

— Мой дорогой сын! — папа берет мою кисть. — Сын!

И вот он уже не идет дальше тротуара, хоть он и вышел провожать меня до самого дома.

Ледяной лист замерз. Ему, наверно, холодно. Я думал, что папа бочком доберется до нашего дома, продырявленного кривыми тульями измен. Я как коварный охотник жаждал заманить его на пролахшее гарью пожарище. Я метался как обломок в мутной луже, и ни одно лето не могло подобрать мой чернеющий глаз грудного ребенка. Я завидовал дню и звал ладони родителей на голую прудь.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.

Прозрачны гривы табуна ночного.

В сухой реке пустой челнок плывет.

Среди кузнечиков беспамятствует слово.

На заре жизни я однажды краснеющими от стыда руками гладил горб на своей спине. Горб дрожал как крыло ангела. Но разве могли мы с папой тогда знать, что страсть, женская страсть не подлежит проклятию, потому что она рождена из той же небесно прозрачной ткани, из которой бог родил свободу. Мы с папой ждали ее на проспекте, рядом с кинотеатром, куда она шла под руку с итальянским подмастерьем Возрождения. Она застыла. Она не изменилась. Только гениальный живописец чистой любви вдруг выпустил мамину ладонь и шмыгнул в полутемный подъезд, а мама, залитая солнцем августа, остановила рядом с нашим дуэтом свое прекрасное, одухотворенное лицо, и ни одной капли греха, я готов в этом поклясться, не блестело на ее родном для нас лице.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,

То вдруг прикинется безумной Антигоной,

То мертвой ласточкой бросается к ногам,

С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Вечером, когда облака порозовели, я плакал в подушку у распахнутого в холодную ночь окна. А папины шаги, шаги часового, сторожили мои рыдания.

Я не мог бросить маму одну в новогоднюю ночь с этим бродягой. Она жаловалась на то, что он груб с нею и грозит оставить на произвол страшной судьбы.

— Все мужчины заглядываются на тебя, — из горла негра доносилась мольба. — А я опален ревностью.

Он даже смастерил черными руками венецианского мавра из колочей проволоки корону на мой лоб с кровавой печатью. Я оглядел его профиль, его толстые африканские губы, бычьё шею и зеркальную морщину любви на виске. Я отдал в его пылающую ладонь хрустальный платок Дездемоны. Мама командовала своим возлюбленным. Она гнала его на базар за какой-нибудь рождественской птицей, обреченной на отсековые головы. Мы не хотели, нам было противно есть убиенное

мясо, но природа звала нас отчеканить дар облакам. Серафим полетел на базар. Я глядел на рыбу в розовой воде. Рыба задыхалась в колоколе света, выпучив глаза. Меня не мучила судьба этой рыбы. Меня беспокоил телефонный разговор с поэтом Валентином Медузovým. Поэт как обычно звал меня встречать Новый год в штывки и оскалившись по-собачьи.

— Лети сюда! К опекунам огненной моей лиры! Чего ты мнешься на задворках лютой весны? Здесь меня любят. они бездарны, а я — чудо на шумном, бестолковом вернисаже. Мы будем жрать золотых рыбок, болтать на нижегородском французском и читать по очереди вслух Алана Роб Грийе.

Мне страшно захотелось в стеклянный зверинец. В зал с солнечными господами. Они лелеют графоманов а ля Валентин с гаснущим блеском глуповатых глаз, а я буду одиноко сидеть на воздухе в плетеном кресле с американским сборником русской поэзии, шедевры двадцатого века, настолько искренний в своей верандной судьбе, что за здоровье мое никому и в голову не бросится прозвенеть бокалом или хотя бы высесть копытом мираж из цветных брызг над моим лбом. Горящий букет будет брошен выдающемуся и душному от крыльев Медузovu. Я взглянул на маму, затравленную своей блестящей артистичной любовью, на родную мне женщину, позабытую богом и высохшую от ревности маляра. Мама вышивала мандарин золотыми нитками. Она собиралась дарить холодный мандарин Отелло в эту славную ночь. Слезы текли из ее запухших глаз.

— Он разбил нашу семью. Где же твой папа?

— Он где-то за чернеющим и снежным горизонтом, — ответил я.

Я протянул и отдернул мою нищую руку от ее головы. Но где мне было взять храбрость, чтоб погладить старые волосы?

**О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!**

Шестикрылый Серафим влетел в зимний сад. Мама разводила на стенах малиновые цветы зла. Маляр, зреющий дубовым листочком Леонардо, крепко сдвинул вниз лбом серебристого от перьев индюка. Индюк был тяжелым. Ночь убила его. Красный индюк дрожал как дамклов меч. Мы сгрудились вокруг вырождающейся из пепла бессильной любви. Мама поставила ей блюдце с пшеницей. Индюк бросился на зерно. Подмастерье эпохи Возрождения точил кухонный нож. Недопитая с лета бутылка вина легла на белую скатерть. Мы полюбили индюка. Любовь к птице всегда была тайной. Только я задумал погладить лысую голову с сырими глазами. Я ненавижу птиц на земле, в жарком костюме и в белой шляпе. Мы затаили дыхание. Серафим зарыдал. Он достал из ящика нож. Он один вырос в деревне и взялся за гнусное дело. Мама хотела расправиться с праздником. Мы с ней прятали глаза от убий-

ства. Но гибель птицы была неотвратима, и мы послали за ней человека, взятого мамой в ее жизнь напрокат. Она надеялась, что при бенгальском огне и колоколах возродится светлый огонь первой встречи. Она решилась на легкую жертву. Из обрезанного горла птицы лилась кровь.

— Весной Серафим подарил мне одуванчик, — вспомнила мама и закрыла лицо.

Слепая голова папы валялась на тарелке. Рыба сквозь воду почуяла запах смерти. Серафим в джинсах был бледен. Его мутило, он шатался. Он схватился руками за малиновый цветок на стене.

И когда при огне старой керосиновой лампы мы подняли три грязноватых стакана с летним вином, мама почудилась желтой. Она целовала волосатую руку моего отца. Мы не знали, что смерть индюка не залечила рану их любви.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Вдруг зазвонил антипоэт.

— Ах! — солнечно лился его новогодний голос. — Мы мерзко поем французские баллады. Мы кидаемся конфетти и дарим друг другу бумажные кораблики детства. Лети сюда!

В груди моей билась радость. Мне захотелось задушить мертвецкую счастья. Бежать на морозный воздух, сквозь снежное блистанье, в дальний дом, пылающий ночью, где при свецах бросали через чистый стол кораблики.

Мама и любовник глядели на меня. Они боялись остаться наедине с совестью в эту новогоднюю ночь. Они думали, что им придется встречать кристальное утро вдвоем. И тогда я остался. Я снял карнавальный плащ. Серафим заботливо накинул на плечи моей красивой мамы красную шаль.

Оба застыли неподалеку от окна. Негр не глядел на детский лоб женщины. Муж тихонечко выскользнул в ванную, где горько рыдал от неразделенной любви.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

А я спокойно ждал рассвета. Когда он накрыл меня саваном, я поднял руку, окунул ее в стакан с застывающим бордовым вином и стал рисовать на белой стене индюка. Мама закрылась красной шалью. Серафим оказался в светлой от утра столовой. Он сторбился, он сидел на коленях, опустив голову на зеркало паркета.

Кровь сочилась с белой стены...

* * *

Вика моя,
Крохотуленька Вика,
Чем мою ласку
Запомнишь к добру?
Тем, что ты льнула
Ко мне
Как травинка,
Я к тебе льнула —
Роса к серебру?
Знаю, как жадно
Тонули в ладонях
Взмахи твоих
Большеглазых ресниц,
То не ресницы
Твои,
А короны
Круглые —
Древнерусских
Девуц.
Помнишь, ты воду
Пила из ладоней —
Пригоршней материнских
Добро?
Ласка травинки с водою
При зное,
И сочтанье:
Роса — серебро.

* * *

Не кручинься, душа,
Не кручинься!
Как во сне, —
Запоешь эту песнь,
Вечерами
Опять золотишься
И стоишь,
Словно девственный
Лес.
То казалось, цыганская
Песня
Припадает на сердце
И грудь,
О кудрявая, черная
Нежность,
О тоскливая
Нежная грусть!
«Не будите меня,
Не будите,


Ох, цыгане, оставьте
Заре,
Полюбите всем сердцем,
Уймите
Жар любви, что
Пылает во мне.
Нет, не трогайте!
Это священо,
На заре не будите
Меня,
Уходите же благословенно,
Подарите мне
Только коня».
Так кручинилась
Песня цыгана,
На пластинке со старой
Иглой,
И прощался он
С табором странно,
Обреченность,
И голос с тоской.
Ах, бывает, поверю я
Цвету,
Словно песне цыганской
Той,
Черноту обласкаю,
Приветив,
Запою над ее
Головой.
«Не будите меня,
Не будите,
На заре не будите меня»,
Но под утро расправив нити,
Горизонт
Заплетает заря.
Наглым оком,
Крылом не подбитым,
В черный цвет
Налетит воронье,
Заклюет ремеслом
Именитым,
Хриплым хором
Отметит: «мое!».
И бессилие — смертное
Ложе,
Как распятие будет
Стоять,
Не поднять головы
От подножья,
Ворон, ворон, —
Его не согнать!
По законам
Презренной породы

Он сперва уничтожит
Глаза,
По расчетам самой
Природы,
Даже мертвому
Видеть нельзя.
Как клюет его ворон,
Бессилье,
А вокруг — ни живой
Души,
Только белое
С черным да синим,
Только ветер
Бредет в камыши.
Не кручинься душа,
Не кручинься!
Не кручинься,
Белым-бела,
Золотятся по осени
Листья,
И кружится моя
Голова.

* * *

По велению нежности
Слова,
По велению ревности
Снова,
По игривой судьбы
Настоянию,
Между нами опять
Расстояния.
Между нами концы
Не сходятся,
Между нами дороги
Расходятся,
Расползаются всякие
Твердости,
Меж любовью и между
Гордостью.
Что наляпывал кистью
Грубо,
Близоруко, о как
Близоруко,
Опадает сегодня
Белыми,
Обнажаясь вокруг,
Пробелами.
Остаюсь я одна —
Расхристана,
Остаюсь я сама как
Истина,

Остаюсь со своими
Мыслями,
Со своими ошибками
Быстрыми.
Ты опять за порогом
Странный,
Словно в жизни моей
Случайный,
Мы родными не сделались,
Что же?
Это в жизни на что-то
Похоже.
Бело-черные проблески
Света,
Черно-белые отблески
Цвета,
Так родными не сделались
Тоже,
Это в жизни на что-то
Похоже.




Вероника АФАНАСЬЕВА

АПРЕЛЬ В ТБИЛИСИ

НАБРОСОК.

Весна коснулась Тбилиси
пастелями. В стекле пустом
ручьи воздушные повисли
между Курюю и мостом.
Тревожно-праздничные мысли
кружат над городом. С дорог
под черепичный говор крыши
спешит согреться ветерок,
и зелень лаской не колышет.
И в нетерпении счастливом
природа замерла пред взрывом.



ТОЛСТОЙ НА КАВКАЗЕ

Мы представляем себе жизнь Льва Николаевича Толстого более благополучной, чем она была.

Он был человеком из распавшейся и разоренной семьи. Знатные родственники как бы отделились от этой маленькой семьи. Мать Льва Николаевича умерла тогда, когда мальчику было два года и его еще звали Лева. Отец — интересный человек, со спутанной судьбой — умер, когда Льву Николаевичу было семь лет.

Человек, которого мы знаем великим, вырос в дружной семье, но семье, потерявшей руководство и как бы обезглавленной.

Он очень любил своих братьев — старшему брату Сергею хорошо завидовал, с другим братом — Николаем был дружен, брат Дмитрий был таким же потерявшим дорогу спутником, как Лев Николаевич.

Молодой Толстой плыл, имея перед собой далекую, еще не выясненную для него самого цель.

В Ясной Поляне молодой Толстой много читал, играл на рояле в пыльной комнате, пел с цыганами, увлекался игрой скрипача. Он старался сам воспитать себя, создал для себя список правил, вел дневник, отмечал ошибки и почти каждую неделю подводил итоги.

Хотел самоучкой узнать все.

Этот молодой человек писал, однако, что он не знает или не видит человека, равного себе.

Он занимался гимнастикой, охотился, играл в карты и разорился. Он ушел из университета, служил в Тульской канцелярии, вернее числился в ней. Он был растерян. Руководила им тетка Татьяна Ергольская, которая когда-то была влюблена в отца мальчика и любила Льва, как никого больше.

Он знал, что он куда-то уедет, а куда уедет — не знал.

Кавказ был мечтой, суровой судьбой и испытанием тогдашней молодежи.

Кавказ был местом ссылки. Там был Одоевский, Бестужев-Марлинский, Лермонтов и многие другие люди, испытавшие горе, восторг и удивление.

Пушкин объехал весь Кавказ через Грузию и Армению, Турцию полукорреспондентом, полусосланным человеком. Он дал точную свою картину Кавказа. Лермонтов как бы шел по дороге Пушкина, но конец этой дороги был уже предсказан правительством. Концом должна была быть смерть.

Молодежь ехала на Кавказ как в романтическую страну к рыцарским народам, народам грозным и поэтическим.

Предполагалось, что Кавказ дает человеку славу, Георгиевский крест за храбрость или смерть.

На Кавказе быстрее шли чины. Герой гоголевской повести «Нос» майор Ковалев чин свой получил в Тбилиси. Но поэт Полонский описал в стихах тифлисское кладбище — Тбилиси тогда называли Тифлисом. Прекрасные воспоминания о старой Грузии!

В старом Тифлисе был дворец наместника, двор наместника. И кладбище русских чиновников-неудачников.

Лев Толстой собирался поехать сперва не на Кавказ, а попутчиком в Сибирь. Сибирь была страна страшная и романтическая.

Но юноша Толстой не отыскивал фуражки и поэтому не поехал в Сибирь.

Он решил подождать брата Николая — умного, талантливого человека, с большим писательским даром, скромного и иронического.

Николенька приехал в Ясную Поляну.

В марте 1851 г. Толстой написал Т. А. Ергольской:

«Приезд Николеньки был для меня очень приятной неожиданностью, так как я почти потерял надежду, что он ко мне приедет. Я так обрадовался, что даже несколько запустил свои обязанности...

Теперь я снова в одиночестве, в полном одиночестве. Нигде не бываю и никого не принимаю у себя. Строю планы на весну, на лето. Одобрите ли Вы их?

В конце мая приеду в Ясные. Проведу там месяц или два. Постараюсь как можно дольше задержаться там Николеньку, а потом вместе с ним съезжу на Кавказ».

На деле вышло иначе.

2 апреля Толстой приехал в Ясную Поляну, и уже в мае он был очень разочарован усадебной жизнью.

18 апреля 1851 года Николай Толстой приехал в Ясную Поляну. Он был офицером-артиллеристом, ехал на службу на Северный Кавказ.

Брат Николай посмотрел на беспутного Льва и пригласил его ехать с собой на Терек.

19-го поездка была не оформлена, а решена. Приготовили тарантас — это самая примитивная повозка для езды: это экипаж, в котором рессоры заменены гибкими стволами деревьев, переброшенными от переднего колеса к заднему.

С собой решили взять новый роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», ружья и самовар.

Путь был выбран странный: ехать в Саратов, в Саратове поставить тарантас в лодку и от Саратова до Астрахани плыть на лодке.

Это была прекрасная поездка, о которой он всю жизнь вспоминал. Хотел ее описать. Но, во всяком случае, это были широко открытые двери в мир.

Из Астрахани, в которой его удивили даже лягушки, которые квакали не так, как квакают лягушки в России, в старый тарантас, взятый из Ясной Поляны, запрягли наемных лошадей и поехали. Поехали через степи, прямо на Кавказ. Почти через пустыню.

Неожиданно показались горы. Эти горы патетично описаны Львом Николаевичем:

«Утро было совершенно ясное. Вдруг он (Оленин) увидел шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую воздушную линию их вершин в далеком небе. И тогда он понял всю даль между ним и горами и небом. Всю громадность гор. И когда он почувствовал всю бесконечность этой красоты, он испугался, что это произошло».

В коротком романе «Казачьи» Лев Николаевич показал, как он боялся быть обманутым горами. Он думал, что, может быть, горы такая же привычная ложь, как светская жизнь или любовь женщины.

Горы в дороге поразили его больше, чем горы вблизи. Из станции, в которую попал Толстой, горы видны редко.

Дымы в аулах и горы.

Солнце всходит за камышами.

Терек.

Оленин думает одно — что там абреки, но у него ружье, и силы, и молодость, и... горы..

Горы Толстому понадобились потому, что он, как мы уже говорили, глубоко разочаровался в обычной жизни в Ясной Поляне, в Петербурге, в полужнакомых домах, в карточных проигрышах, в карточных выигрышах, даже в литературе.

Но в литературу он верил так, как верит в свое гнездо птица, летящая туда через океан. Это было неведомое, невиданное, но несомненное призвание.

Он был не совсем один. Была собака Булька, старой породы, которую называли когда-то волкодавом. Когда Лев Николаевич уезжал из Ясной Поляны, собака была заперта, но она выбила стекла и через несколько километров, блестя ошейником и задыхаясь от бега, догнала коляску.

Булька приняла неширокую, но бесконечно длинную полосу леса, окаймляющую Терек, приняла как свой родной лес. Булька была рождена для охоты, для драки со зверем. Она спасла один раз Толстого, когда на него напал кабан. Потом ее искусала бешеная собака, и Булька ушла куда-то далеко, в лес, и там умерла, пропала, ушла из жизни Толстого.

Я тут говорю, сближая имя Толстого с именем его героя. Но Оленин имеет на руках документы, что он служит чиновником в городе Т. Это может быть только Тула.

Толстой не мог и не хотел оторваться от Оленина. Он любил этого человека, в котором он изобразил себя более скромным, более задумчивым и более откровенным.

На берегу Терека стояли богатые станицы гребенских казаков, которые пришли, вернее, бежали туда неизвестно когда, неизвестно откуда, из какого места России. Так как они были староверами, то вероятнее всего, что это были люди, ушедшие из России во времена Никона, во времена гонений на упрямую любовь людей к старым книгам, к старым обычаям церкви, к старым напевам.

Толстой писал в дневниках позднее, что история России — это история казачества. Он писал о том, что казаки легко взяли и долго держали Азов, который потом с трудом брал

Петр. Казаки — это простые русские люди, не знающие крепостного права, не знающие или почти не знающие аристократии. Сначала они были за Тереком. Потом отступили к Тереку. Это те люди, которых в старой России звали бродники. Они отодвигали границы России. И о них потом долго мечтал Толстой. Он мечтал о написании новой робинзонады, о крестьянах, которые ушли в далекую Сибирь, за неведомые леса.

Толстой сперва хотел написать очерк о терском казачестве. Этот очерк потом превратился в 4-ю главу книги «Казаки». Книга «Казаки» писалась 9 лет. И в книге этой 9 печатных листов. Она не отстала от него, когда он писал «Войну и мир». Это была книга о любви к враждебному, но близкому народу, который свободно жил там, за Тереком. Горцы отбивались от русских, но были все же ближе казакам, чем собственные царские солдаты, которых так много били, обманывали, учили не войне, а разбою, которые прежде всего отрезали Кавказ от степи, от пастбища, загнали людей в глухие горы и все время теснили их.

Книга «Казаки» — это книга о любви к молодой женщине, высокой, необыкновенно красивой, могучей, не притворяющейся стыдливой, но целомудренной. Это книга о неосуществленной мечте, о неосуществленном идеале женщины.

По-разному мечтали русские люди о свободе. Они уходили искать свободу в Ледовитый океан. Почти достигали Нового Света. Жили мелкими кучками среди людей, язык которых они не знали. Они уходили на Кубань, на Дон. А также уходили на Терек. Сюда выслали ссыльного Лермонтова, ссыльного Одоевского. Выслали под пули, под чужие далекие пули, присланных за дорогую цену иностранных ружей. Собственные ружья устарели со времени 1812 года, потому что Россия не приняла участия в технической революции XIX века.

Толстой писал о молодом казаке, влюбленном в Марьяну (это имя все время оставалось неизменным во всех черновиках романа). Он ссорится с ней из-за того, что подозревает ее в связи с офицером. Он уходит туда, в горы, к горцам, может быть, к Шамилю, а потом возвращается, убивает соперника, и его вешают. А он не отбивается, потому что он человек этого берега.

Сменялись варианты романа. И Толстой все время писал, что не выходит бегство. Не выходит сюжет. А сюжет был сложный, потому что было убийство офицера — любовника Марьяны. Был казак, который принял на себя вину. И вся эта интрига и весь этот не совсем новый механизм романа был не нужен в этой теме. Нужным оказался казак Ерощка и другой молодой казак Лукашка. Полувыдуманный, полувзятый из воспоминаний, из записей брата Николеньки Ерощка — свободный человек, который думает, что Россия далеко и там много фальши и какая-то Сибирь, и нет свободы. И казаки удивлялись тому, что приехал к ним человек, у которого есть крепостные мужики, слуги, а он носит солдатскую шинель, и еще говорили, что его родители за то, что кто-то из слуг ушиб собаку, отправили слугу в солдаты.

Толстой сделал Оленина человеком одиноким среди сво-

бодных, хотя уже портившихся людей, которые отбивают друг у друга сады, зарабатывают деньги, живут военной добычей.

Работа, большая сельскохозяйственная работа на хорошей земле, лежит на женщине.

У Пушкина есть запись, относящаяся к эпохе написания «Путешествия в Эрзрум», о том, как он встречается с казаками и узнает, что один из этих казаков уже несколько лет не был дома. Он спрашивает у казака: а если ты узнаешь, что без тебя жена родила ребенка, ты побьешь ее? Казак отвечает: я сам не без греха. А вот если она не заготовила сена на зиму, я ее побью.

На левом берегу Терека есть своя нравственность. Свой строй жизни. Своя хозяйственность. Но это другая хозяйственность, непонятная Оленину. Ее поймет через десятилетия Толстой, когда закончит написание «Казаков».

И долго писал Толстой прекрасную, неувядаемую повесть. Я сказал — неувядаемую и понял, что не ошибаюсь, потому что на берегах Терека, насколько я помню, леса и травы не вянут. Это — юг, и вода близко. Это край жизни человечества. Это те люди, о которых мечтали Руссо, Шатобриан, о которых пытался писать Купер. Это свободные люди и свободные отношения в семье. И Толстой не мог отделить свое представление о семье, свое представление о праве, о храбрости, о том, что ему очень нравилось в терском казачестве.

Он все время переделывал свое произведение.

Лукашка — молодой казак, образ построенный, но более чем документальный. Оленин подарил ему лошадь, а тот обменял ее на другого коня, получше.

Толстой мечтал о свободных людях. И, как мне кажется, когда он создавал в Ясной Поляне школу, в которую дети могли приходить когда угодно и когда угодно уходить с уроков, если им было не интересно, он хотел создать свободную школу, по образцу свободного, но идеализированного в описании общества терских казаков.

Казаки, их идеалы были тайными телохранителями гения Толстого. Они его провожали от эпохи написания «Детства», а «Детство» он стал писать в станице Старогладковской, они его провожали до смерти, до того времени, когда он думал уйти туда, «куда Макар телят не гонял», но доходят ищущие воли русские люди, отодвигающие границы страны, в дикие, никем не освоенные земли.

А кончил он так.

С того берега пришли абреки. Может быть, отбивать казачьи стада, а может быть, мстящие за то, что у них казаки отбивают стада. С ними сражались казаки, в том числе и Лукашка. Лукашка ранен. Горюет о нем вся станица, потому что он — урван, человек, который вырвал, спас из быстрой реки ребенка, он лихач, храбрец, умница, охотник.

И когда после ранения Лукашки Оленин приходит с любовным признанием к Марьяне, она говорит ему простые слова: «Уйди, постылый». Он — чужой, хотя он хороший охотник, хороший собеседник, не гордый барин. Но он — чужой человек.

И Толстой нашел самую простую развязку, совпадающую с его биографией, но не автобиографичную.

И Толстой, который так случайно, необдуманно приехал на Кавказ, уезжает.

Он уезжает на войну. Сперва на войну, которую Россия ведет с Турцией. Война была не очень опасная. Там он встречается со своим дальним, но очень знатным родственником. Он получает чин.

Он уезжает.

Толстой едет в Севастополь одетым так, как он был одет в станице Старогладковской, — в солдатской шинели, потому что там он был солдатом, ходил с солдатами в набеги. Он ближе узнал солдат. Он написал на опыте Кавказа о том, как живут и умирают русские солдаты, о том, что такое солдатская дружба, что такое молодой солдат, старый солдат и даже что такое солдатское бахвальство и пьянство и веселая ложь.

Мимо гор, через берег реки Терек, через Кавказ, через Крым пришел Лев Николаевич Толстой к пониманию России. И это ему дали кавказские станицы, и Пятигорск, и пребывание в Тифлисе — они дали дорогу к России, к широкой России, которую он всю жизнь потом пытался выразить.

Старые неудачные походы для освобождения Иерусалима от неверных. Война, которая началась странным разгромом уже в эпоху Николая I. Войны из-за ключей гробницы Иисуса Христа. Эти старые дороги привели Толстого к новому пониманию жизни. Так неудачные походы крестоносцев с пожарами, грабежами привели Европу к эпохе Возрождения.

Наш герой поход свой, трудный поход начал с Кавказа. Кавказ он любил и помнил до смерти.

В Тбилиси Толстой побывал в доме наместника, кажется, был принят не совсем холодно. Когда он уезжал из Ясной Поляны, то он взял с собою флейту и английский словарь. Брат сказал ему:

— Неудачник ты у меня, Лева!.. Что тут говорить про английский язык? Ты и на флейте не научишься играть!

Где потерял Толстой флейту — я не знаю. Английскому языку он учился долго и научился прекрасно.

Два Кавказа — Кавказ гор и Кавказ Грузии научили Толстого разнообразию жизни, разнообразию существующей нравственности, необходимости раздельно, критически, как новость, воспринимать жизнь.

Детство в Ясной Поляне Лев Толстой увидал из Тифлиса.

Сложность отношений между мужчиной и женщиной и понимание того, что нельзя получить больше того, что ты сам даешь, этой трагической науке он научился на берегу Терека и доучивался ей всю жизнь. И разгадал многое, непонятное для многих даже сейчас.

К. БАЛЬМОНТ О ДОСТОЕВСКОМ

«Бальмонт и Достоевский» — тема, до сих пор не только не исследованная, но и даже не ставившаяся в нашем литературоведении. А между тем К. Д. Бальмонт был неизменным почитателем таланта Достоевского и отличным знатоком его творчества. Один из ранних сборников стихотворений Бальмонта «В безбрежности» (М., 1895) открывался эпитафией «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего» — это слова старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы». Сборник Бальмонта «Только любовь» (М., 1903) открывался словами Достоевского «Я всему молюсь».

Впрочем, отношение Бальмонта к Достоевскому прошло два этапа: до эмиграции поэта, то есть до 1920 года, и второй этап — после 1920 года, а еще точнее, после ноября 1921 года, когда во всем мире отмечалось столетие со дня рождения Достоевского. Для первого этапа характерны слова в одном из писем Бальмонта. «Неправы те многочисленные русские и иностранцы, которые полагают — один, что самый русский — Достоевский, другой, что самый русский — Толстой, — писал Бальмонт. — Ну как же Достоевский, когда — умнейший человек, он в творчестве воплощенное безумие и срыв; а истинный, исконный русский человек всегда, спокон веков, побезумствует - побезумствует, да и войдет в свой устав, не стронет с него, будет так мудр и кроток, как пасечник на пасеке.

И как же — Толстой, если он не понимал и не любил стихов, а русская душа только и знает, что поет песню, поет духовный стих, поет частушку, и каждое свое историческое переживание превращает в поэму.

Создатель самой чистой, первородной русской речи самый русский поэт — Пушкин, самый русский прозаик — Аксаков...»¹.

После 1920 года Бальмонт безоговорочно принимает Достоевского и как писателя, и как человека. В немалой степени этому способствовало 100-летие со дня рождения Достоевского. Этому событию было, в частности, посвящено торжественное заседание в Париже в декабре 1921 года в театре *Vieux Colomblér*. Среди тех, кто получил приглашение выступить на этом заседании, были известные французские писатели Андре Жид и А. Суарес, а также живший в эмиграции во Франции Бальмонт. В ответ на запрос, сможет ли он выступить в театре *Vieux Colomblér* Бальмонт ответил впервые публикуемым здесь письмом от 29 ноября 1921 года, в котором уже видны контуры его будущей речи о Достоевском:

«...Конечно, я с наслаждением приеду в Париж на праздник Достоевского, которого считаю провидцем, и не только величайшим писателем, но и величайшим человеком, звездной вехой не только целого народа, но и целой эпохи, начавшейся и долженствующей развернуться неукословно так, как увидел этот отмеченный, равного которому я не вижу.

Но... знаете, я беден очень. 500 франков я считаю минимумом, однако достаточным. Я прошу Вас выяснить этот пункт безотложно и телеграфировать мне, чтобы я мог, — если это действительно достоверно, — отложить всякие другие заботы, сосредоточить свою мысль на Достоевском. Напишите мне также, пожалуйста, должен ли я сказать свою речь на французском языке или по-русски.

Кстати, я хотел переехать в Ниццу. Только что полученная телеграмма извещает меня, что это дело расстроилось.

Выступить с Андре Жидом и Суаресом (два самые интересные сейчас француза) я считаю радостью и высокой честью...»².

11 декабря 1921 года, то есть как раз в момент празднования в театре *Vieux Colomblér* 100-летия со дня рождения Достоевского, Бальмонт пишет стихотворение «Камнегорск», где, как и в своей речи, снова сравнивает Достоевского с Коперником:

Твердыня с мощностью стропил,
С устоем скреп. Создание воли,
Рисунок гения в веках,
Где каждый шаг — исход из боли,
Умом преображенный прах.
Где каждый дом — гранитный взмах,
Не город, а напев гранитный,
Всей нашей гордости кудель,
Всей нашей славы колыбель,

¹ Со слов дочери Бальмонта — Ницы Константиновны Бальмонт-Брун.

² Фундаментальная библиотека Вильнюса, архив Дехтерева, ф. 99 гл. хр. 9861. Письмо публикуется в сокращении.

Узор, в котором в дружбе слитной
Золотоглавая Москва
Столица, глянувшая в море,
Где внепредельна синева,
Где с духом смелым в договоре
Даль уводящая жива.
Столица — мысль, где стержень — Невский,
Венчалась с Пушкиным Нева,
Где высочайшие слова
Сказал сразитель вещества,
Коперник духа — Достоевский...¹.

В феврале 1931 года, когда исполнилось 50 лет со дня смерти Достоевского, Бальмонт пишет специальное стихотворение «Ключ страсти. Имени Ф. М. Достоевского» («Средь Стражей мира, чье необозримо...»), в основу которого он положил свою речь в декабре 1921 года в театре Vieux Colombier².

Речь Бальмонта «О Достоевском» была опубликована в парижской газете «Последние новости» 27 декабря 1921 года, с тех пор ни разу не перепечатывалась и, таким образом, неизвестна не только широким кругам советских читателей, но и даже исследователям творчества Достоевского и Бальмонта. Печатаем эту речь с небольшими сокращениями, обозначенными многоточиями в угловых скобках.

С. В. БЕЛОВ,
кандидат филолог. наук.
Ленинград

В Русских народных сказках часто повторяется образ страшной волшебницы, которая называется Баба-Яга. Обладающая тонким обонянием и способностью угадывать события на расстоянии, колдунья Яга может носиться как ветер там, где люди могут только ходить или бегать.

Она лезет в железной ступе, в сосуде, в котором раздробляют, измалывают вещество крушащим пестом. Она живет в избушке, стоящей на птичьих ножках, на лапках существа, одаренного крыльями, и эта избушка, по заговорному слову ее, может повертываться на Запад, повертываться на Восток, смотреть своими оконцами в любую сторону света. А так как Яга и подчиненные ей ведьмы питаются душами людей, она и служащие ей делаются легкими как души.

Если брать именно эти черты жуткой волшебницы, увиденной загрезившим оком Русского народа, я не могу не вспомнить один из ликов бесконечно сложной, многогранной личности того гениального художника, чье имя — Достоевский.

¹ Со слов Н. К. Бальмонт-Бруни.

² Стихотворение «Ключ страсти» опубликовано в газете «Россия и славянство» (Париж), 21 февраля 1931 г., № 117.

Его тонкое чутье, безошибающееся чутье лесного зверя и лесной колдуньи по малому, почти неуловимому намеку пролетевшего запаха всегда приведет его на верный след. А по следу он пройдет безошибочно всю дорогу, пока не глянет прямо в глаза тому, кого искал и все свойства которого он разгадывает еще до того, как поставил лицо свое в уровень с лицом того, кто должен быть весь разоблачен в его магическом зеркале. Он может как ветер летать там, где другие только ходят или бегают спотыкаясь.

Взяв вещество, он его дробит, сокрушает, перемальывает до полного пресуществования. И твердое зерно, в волшебстве, делается мельчайшей белой пылью, в ней играют радуги, из нее можно сделать летучую воздушную завесу, и из нее можно сделать подкрепляющий хлеб каждого дня, и по воле преобразителя вещества можно сделать из нее дьявольские рогульки для иступленного шабаша, и можно сделать те священные знамена, которые возникают в самом высоком таинстве нашей религии.

Он живет, этот тец человеческих душ, не в простом доме, его жилище может произвольно повертываться в любую сторону света, чтобы узнать до конца и ночную тайну, и дневную тайну, его окна видят вещественное и, рассекая своим светом вещественное, видят все сокровенное душ, напрасно прячущихся в извивные и плещущие завесы вещества.

И он легок в своей поступи, как душа, потому что он питается душами, вбирает в себя все, что есть в душах человеческих.

Узнав сам, много раз, величайшую боль, величайшие соблазны, самые большие возможности и самую великую невозможность, видевший смерть лицом к лицу, когда молодость кричала в нем и шептала всеми своими голосами, он, стоявший на эшафоте и считавший секунды, отделяющие его от казни, явленной во всем ужасе, хотя и не пришедшей внешне, он, узнавший чудовищный и священный недуг, падучую, посланную Судьбою до него молниеносному пророку Аллаха, как страшный дар, помогающий узнавать подземные тайны и тайны верхней бездны, он, без вины томившийся годы на каторге и знавший там радость принять от бедной девочки копейку милостыни, — мог ли он не знать, что есть в душах человеческих. Много раз растоптанный Судьбой и узнавший, что на остриях боли так же играет радуга, как она, играя стоит на горних высях свершившейся грозы, он, говоривший и с Богом, и с Дьяволом в полной мере человеческого голоса, воистину питался душами и всем, что в душах. Страшно ли это? Вероятно, страшно. Но, как Бенвенуто Челлини¹, он мог бы сказать, что он не знает, какого цвета страх («io non conoscendo di che colore la paura si fusse»). И нет. Он слишком хорошо знал, какого цвета страх. Но он не страшился быть там, где страшно. Рок ему велел смотреть на Горгон², и он смотрел. Мы от него знаем как шевелятся довременные змеи. Но самый неистовый художник Итальянского Возрождения, создавший героя, убивающего красивое чудовище³, был перед этим смиренным Достоевским не больше как ребенок. Ваятель Персея, по-детски

свершая свои элементарные бесчинства и злодейства, весело полагал, что ему все позволено⁴. Достоевский начертал огненными буквами эту Сатанинскую заповедь, вопреки его воле ставшую боевым кличем нашей извращенной действительности: «Все позволено». Но он знал также, как знал много раз видевший смерть и на доске проплывший морскую бездну апостол Павел, что «все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною».

Творчески прикасаясь к зменным областям человеческой души, Достоевский всегда помнил то великое правило, которое дано Русской поговоркой: «Змею выше глаз не поднимай». Он не дозволил змее верховодить над своим умом. Он не дал ей возможности ужалить его в глаза. Ходивший по умственным остриям и в значительной степени вышедший в своей философии Заратустры из Достоевского, Ницше неизбежно оборвался в пропасть и впал в роковое безумие потому, что он поднял змею выше своих глаз.

Имея ключ бездны, Достоевский умел ходить по краю пропасти. Он мог бы справедливо определить себя яркой формулой, данной самым могучим художником французской прозы Бальзаком: «Наш дух есть бездна, которой любы бездны» («Notre esprit est un abime, qui se plait dans les abimes»). Но приближаться к краю пропасти есть или праздное любопытство и недостойное занятие, или слишком опасное дело, потому что, кто заглядывает за срывный край, того зовет голос глубин и велит ему броситься вниз. Тут нужно иметь ключ бездны. А он дается лишь тому, кто в собственной своей душе носит весь объем верхней звездной бездны. Оттого Достоевскому и не грозила та крайняя опасность, от которой предостерегает испанский мистик 17 века Кеведо⁵, говоря: «Внутри собственного своего тела, сколь ни малым оно тебе кажется, странствуешь ты. И если не смотришь ты зорко, куда влекут тебя собственные твои желания, потеряешься в этом малом вместилище навсегда», «para siempre».

Когда страшная Лесная Колдунья летит в своей железной ступе, под ее полетом бешенствует буря, стонет лес, теряет рассудок и мечется скотина, веет смертоносное поветрие, проходит мор с окровавленными руками и с лицом, похожим на бапровый месяц, тонущий в болоте. И кто увидит Ягу, становится нем. Не это ли художнический путь Достоевского?

Он пишет романы, но это не романы, а жуткая, колдовская и пророческая летопись. Каждый роман — исполинское стихотворение в семь строф по сто страниц в строфе, и все семь смертных грехов пройдут по семи этим строфам и падут растоптанные, пронзенные копьём святого Георгия, Люду человеческих привидений соответствует природа и обстановка городских улиц, откуда истребляюще вынута все телесное, так что самое реальное становится самым воздушным и фантастическим, в неизмеримо большей степени, чем это мы видим, например, на затянутых дымкой картинах Тёрнера⁶ или в дьявольских видениях Брейгеля⁷. Жители Мертвого дома: каторжники, — дети, похожие на обиженных ангелов, сладострастни-

ки, ум которых пляшет пляску, похожую на приступ падучей, — подвижники, совершающие земной поклон перед убийцами, — убийцы, говорящие над трупом о бытии или небытии Бога, — юродивые, говорящие слова непреходящей ценности, — юноша, читающий звездную книгу, — влюбленные, убивающие своих любимых, ибо в этих людях любовь есть сумасшествие, — бесы, принявшие человеческую личину <...>.

Человек, видевший великие битвы и сам принимавший в них участие, неспособен говорить малые слова о большом и напрасно-большие слова о малом. Таков Достоевский.

Человек, знавший крайнюю беду и не сломленный своим предельным несчастьем, о чем бы он ни начал говорить, говорит как-то особенно, и душа его полна великой тишины, которая выразительнее всяких слов. Таков Достоевский.

Человек из племени, которое долго жило в широких степях или в пустынях, говоря с тобой, всегда смотрит немного поверх тебя, как бы сквозь тебя. Потому что он издавна привык смотреть вдаль. Таков Достоевский.

Были ли предшественники у Русского гения? Отдельные малые зерна того, что у Достоевского есть пышная нива, отдельные семена того, что у него дремучий лес, можно найти у романтического сказочника Гофмана с его «Эликсиром Дьявола» и у гениального Эдгара По с его рассказами «Сердце-Изобличитель» и «Демон Извращенности». Но это так мало, что не стоит об этом говорить. Нет, у него не было предшественников, и ни раньше, ни позже не было равного в искусстве чтения душ, как не было предшественников у величайшего из исторических народов, Египтян. Разве Атланты, унесшие свою тайну на дно Океана.

Если брать лучезарные имена, с одним только именем можно поставить у уровень имя Достоевского. Одно явление на свете Польского гения Коперника означает, что вся звездная наука, до него существовавшая, опрокинута безвозвратно и люди приблизились к небесной правде. Одно явление на свете Достоевского означает, что все прежние пути художественного приближения к правде душ опрокинуты и указана совершенно новая дорога. В этом Достоевский — один, как одна над побежденной грозой стоит радуга. Рядом с истинной радугой бывает иногда другая, но она призрачно-бледна и быстро тает.

Рождаясь из маленьких капель росы, из ползучих туманов, из гнетущей духоты, туча доходит до лика жуткого капища, и в ней грозное празднество похоже на шабаш веселящихся демонов. Но она кончается семицветной радугой. А как говорят горцы Кавказа, много знающие о грозе и пропастьях и горных вершинах, конец радуги всегда упирается в такое место, где зарыт клад.

Примечания

1. Бенвенуто Челлини (1500 — 1571-74) — итальянский скульптор, ювелир и писатель.
2. Горгоны — в древнегреческой мифологии крылатые женщины-чудища, взгляду которых была присуща маги-

ческая сила превращать в камень все живое. Согласно одному из мифов, Горгон было три; из них единственная смертная — Медуза, которой отрубил голову Персей, сын Данаи и Зевса.

3. Бенвенуто Челлини вылепил и отлил из бронзы статую Персея с головою Медузы в руке.

4. Бенвенуто Челлини написал автобиографию «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции». «Из своих мемуаров, — пишет известный советский исследователь Итальянского Возрождения А. А. Дживелегов, — Челлини смотрит как живой: первоклассный мастер резца и кинжала, полубандит-полупридворный, очень одаренный и очень некультурный, с одинаковым неистовством отдающийся творчеству и мщению, суеверный, легкомысленный, завистливый, злой, полный причуд и капризов, простодушный и тщеславный, всю жизнь поклонявшийся одному богу: искусству». (Энциклопедический словарь Гранат, т. 45, ч. III, стр. 653).

5. Кеведо-и-Вильегас, Франсиско (1580—1645) — испанский писатель. Бальмонт имеет в виду трактаты Кеведо «Политика бога, правление Христа и тирания сатаны» и «Рассуждение о всех дьяволах».

6. Джозеф Тёрнер (1775 — 1851) — английский живописец, часто обращавшийся в своем творчестве к библейским, мифологическим и историческим сюжетам.

7. Брейгель Старший, Питер (ок. 1525-30—1569)—нидерландский живописец. Бальмонт имеет в виду его фантастические картины безумия и ужасов «Безумная Прета» и «Сорока на виселице», навеянные кровавым испанским террором

Напоминание о поэте

Помнится, с какой благодарностью говорили поэты Грузии и России о многолетнем труде Клары Арсеновой. Говорили о ее оригинальных стихах о Грузии, о ее переводах грузинских поэтов, об умении привлекать русских читателей к постижению красот грузинской литературы. Когда просили Клару Арсеневу прочитать ее стихи, она всего охотней читала стихи о Грузии. Ей, вероятно, вспоминалось тифлисское детство в конце прошлого века:

О память детства,
Как с тобой расстаться!
Сады Тбилиси,
Все мне снится вы...

Ее радовало «засилие сирени», крутосклоны, старые улочки, башни и прежде всего — люди, их радушие и дружелюбие. Как проникновенно-песенно передала она любовь к Грузии! Тепло тех лет прошло через всю жизнь и озарило зрелость и старость поэта.

Солнце сеяло тепло,
Испарялись хляби,
И цвело, цвело, цвело
Дерево унаби.

Грузия цветет в стихах Клары Арсеновой. Я вижу вешние сады в подвешенном убранстве, слышу птичье щебетанье, вдыхаю прогретый солнцем воздух. Ткань арсеновского стиха пропиталась всем этим.

А хорошо ли помним мы создателя этих прелестных стихов? Храним ли благодарную память о поэте?

...«Стихи о жизни» (Петроград, 1916), «Стихи» (Тбилиси, 1920), «Весна на окне» (Москва, «Советский писатель», 1958), «Сокровенные просторы» (Москва, «Советский писатель», 1968). Вот и все, что издано. Редкие публикации.

Мастер поэтического перевода, Клара Арсенева перевела много строк грузинской поэзии, вошедших в антологии и хрестоматии. Важа Пшавела и Илья Чавчавадзе, Галактион Табидзе и Иосиф Пришашвили, Валериан Гапринадшвили и Мари-

ка Микеладзе, Паоло Яшвили и Симон Чиковани. Это серьезная работа мастера. Запечатленная в слове любовь к Грузии.

Родилась Клара Арсенева в Тбилиси в 1890 г. В гимназические годы она горячо увлекалась литературой, поэзией, театром. Ей сулили успешный путь на сцене, но, переехав в 1912 г. в Петербург, она всецело посвятила себя поэзии. Много дало молодому автору общение с Александром Блоком, Вячеславом Ивановым, Анной Ахматовой, Максимилианом Волошиным. Все они с большим вниманием отнеслись к начинающей поэтессе и похвально отзывались о ее стихах. В 1916 г. в Петрограде вышел сборник стихов Клары Арсеновой — «Стихи о жизни».

Возвратившись в Тбилиси, Клара Арсенева интенсивно продолжает поэтическую работу. Она сдружилась с грузинскими поэтами, стихи которых переводила на русский язык. Ей выражали глубокую признательность за прекрасные переводы многие (и среди них — Паоло Яшвили). В 1920 г. в Тбилиси был издан второй сборник стихов Арсеновой «Стихи».

С 1922 г. Арсенева в Москве. Она создает оригинальные стихи и продолжает переводческую деятельность. Она печатается редко, но пишет постоянно. О переводах доброе слово сказано. Оригинальные стихи остаются в тени. Эта моя заметка — напоминание о поэте, достойном самого пристального внимания. Это лирика, отмеченная «лица необщим выраженьем». Я узнаю голос Клары Арсеновой, ее песню.

Образ Грузии и России картинно возникает при чтении стихов Арсеновой. Это не только тема, это пафос ее поэзии.

Что чувством родины зовется?
Сознание, что только тут
Работается и поется,
Где эти яблони цветут.

Яблоневый дух витает над страницами Арсеновой. Строки, начертанные на них, запоминаются. И — не выветриваются.

Оригинальных стихов написано Кларой Арсеновой немного. Но среди ее строк есть такие, мимо которых нельзя пройти, — это поэзия.

Лев ОЗЕРОВ.

ГРУЗИЯ

Там громок голос бурь и шумен рост дерев,
Целебны родники, бегущие из бездны,
Торжественен народ, в нем воли дух железный,
И в годы войн врагам его опасен гнев.
Но мирен он в спокойные года,
И знает упоение труда,
И весел на пиру за полной чашей винной,
Когда звенит в саду напев зурны старинной,
И тропка горная над пропастью летит,
И речка горная, как Млечный Путь, блестит
И башня древняя качается в ущельи —
Приют, где жил и пел когда-то Руставели.

1937

* * *

Помнишь, гор охват крутой
Город стиснул?
Помнишь, в улице пустой
Тополь виснул?

Охру старых стен насквозь
Солнце летом
Прожигало сверху, вкось
Желтым светом.

Помнишь, дворик, где трава
Прибывала?
В бурю дерево айва
Бушевала.

Помнишь, погреб за стеной,
Запах винный?
Пели, чувствуя зурной
День, грузины.

Трепет листьев замирал
На недели...
Этим воздухом дышал
Руставели.

1936

ДЕТСТВО

Запах той сирени — запах грусти,
Прижился в лиловом тупике.
Старый дом таился в захолустьи,

От грядущих бед недалеке.
Прирученный сестрами галчонок
То бывал задумчив, то игрив,
Вместе с нами слушал плеск речонок,
Сиживал на ветках ближних ив.
Думали, что светосотворенье
Вспыхнуло за створами ворот...
И сейчас тревожит сновиденья
Желто-золотой солнцеворот.

ВЕТКА

Думай только об одном,
Обо всем другом молчи —
Поспевает за окном
Время дикой алычи,
Время певней и тревог,
Речек, наводнивших рвы,
И дыханья у дорог
Непробившейся травы.
Эта ранняя весна,
Ливнем брошенная в дрожь.
Это деревцо из сна,
Где сплелись и явь и ложь...
Думай только об одном,
Обо всем другом молчи —
Распустилась за окном.
Ветка дикой алычи.

САД НА ВЕРШИНЕ

Все вытерпела мушмула
И даже снежные метели.
Боролась с ветром как могла,
Но устояла еле-еле.
Опять, опять, как год назад,
От терпкого хмелея духа,
Ее душой наполнен сад,
Живет таинственно и глухо.

СТАРАЯ ГРУЗИЯ

Светят башни в знойный час.
Тени желтых стен — чернее,
Завлекающая нас
Улочка еще теснее.
За шашлычной даль темна:
Помесь мрака с бирюзью.
В городке перед грозью —
Охра и голубизна.

О память детства,
 Как с тобой расстаться!
 Сады Тбилиси,
 Все мне снится вы —
 Засилие сирени
 И акаций,
 Тутовника, орешника,
 Айвы...

1958

ДЕТСТВО

Помнишь ли домик под тенью вершин,
 Ливень июльский, гремящий и грозный,
 И на террасе стеклянный кувшин,
 В полночь наполненный осыпью
 звездной?

Утром его находили пустым,
 Думали: звезды растаяли снова
 Или они превращаются в дым,
 Неуловимый, какой-то лиловый.

Думали: совы пророчат беду,
 Ухая ночью тоскливо и сиро.
 Думали: дерево в нашем саду —
 Первое от сотворения мира.

В полдень гранатник был розов и сух,
 Словно и в помыслах не было бури.
 Целое утро столетний пастух
 Пел нам о «Витязе в барсовой шкуре».

1938

ДЕРЕВО УНАБИ

Дни дождями занесло,
 Разверзались хляби,
 В тихом дворике цвело
 Дерево унаби.

Предрекал унылый грач:
 «Солнце захлебнется —
 Ты хоть в крик кричи, хоть плачь, —
 Больше не вернется...».

Но весна роняла цвет
 И обозначала,
 Что конца вселенной нет —
 Не было начала.

Солнце сеяло тепло,
Испарялись хляби.
И цвело, цвело, цвело
Дерево унаби.

1963

* * *

Не забыть мне галочьих кочевий,
Посещавших город на пути,
Вековых ореховых деревьев,
В марте начинающих цвести,
Дома, что проснувшись утром ранним,
Быт семьи, унылый быт берег,
Дней, когда звучали заклинаньем
Ритмы горьких лермонтовских строк.
В тихий час раздумий и поныне
Выплывает в памяти моей
Старый город в знойной котловине
За туманом промелькнувших дней.

1964

* * *

Все больше зарастает двор,
Тутовник просится под крышу,
Швыряет на косо́й балкон
Зеленых гусениц и листья.
И подрастает мушмула,
День напоен ее дыханьем.
Родные бродят по квартире,
А кто-нибудь в углу двора,
Забравшись в трепетную тень,
Рисует этот странный мир,
Где солнце заодно со счастьем.
А ты томишься от жары
И в полдень заклинаешь дождь,
А также заклинаешь друга,
Чтоб не откладывал свиданья.

1970



* * *

К вещам великим прикасаться тенью —
Вот это все, что я имел в виду.
Вращалось тихо яблоко в саду,
Под ним закон таился притяженья.
И через годы в ту же синеву
Та женщина услышит ударенья
Размеренные — яблок о траву.

* * *

А нам нельзя и пальцем шевельнуть,
Не вызывая в самом сокровенном
Похмелья оседающую муть.
О, мудрость древних, как ты современна!
Зачем тобой предписанный покой
И к действию слепое недоверье
Не властвуют над суетной рукой,
Когда стучимся мы в чужие двери?

* * *

Берег моря плоский, плоский
После дождика утих.
Собирала мама слезки,
Привозила в банке их.
Как потом они мерцали,
От воды простой ожив.
Снова берег. Снова дали.
В чайном блюдечке — прилив.
Лето. Лето. Лета. Лета.
В близости сороковых.
Нехорошая примета
Привозить от моря их.
Море плещется в истоме,
Общий вид над головой —
В старом мамином альбоме
Давний снимок групповой.

БАТУМИ

1.

Эта складка бульдожья магнолии
Собиралась в свечу над тобой.
Незажженная, с ветки любой
Все хотела светить в то окно или
Устилать чей-то путь скорлупой.

Пыльной властью асфальта униженный
Город в городе словно не свой.
Кто ответит своей головой
За твои дождевые булыжины,
Прораставшие мелкой травой?
До свидания, милые призраки,
Ничего не поделаешь тут.
Дым картонных, игрушечных труб.
Рядом с вами все новые признаки
У причальных мешаются тумб.
И забытое детство не мешкает,
Здесь в кофейне путем окружным
С неба, к морю, потоком речным
С пожелтелой бамбуковой вешалки
Полотенцем полощет ручным.
Над случайною всей совокупностью
Наблюдений, пристрастий, примет
Повседневности высится свет
И стихи озаряют о хрупкости.
Кремня тверже. В них хрупкости нет.

2.

О чем морское поле так хлопочет,
Полоской пены берег теребя?
Жить для себя, жить только для себя —
Простой его наказ волной рокочет.
Когда-то легендарно и сурово
К тем морякам базальтовых пород
Оно ушло. Залив лежит подковой.
Сулит покой и счастье наперед.

3.

Порт в дожде. Все будто на пожаре.
Но она прошла не торопясь.
Женщина в трех лужах отражалась,
Пьющего касаясь воробья.
Поднимают от причала сходни.
Вал прокрутит первый свой виток.
Винт с цветком должно быть чем-то сходен,
Раз пошел в воде расти цветок.
Ждет чистильщик обуви в нелепом
Ухарски завязанном платке.
Стертые железные «налеби» —
Две подковки на его станке.
Бричка мимолетная мне снится.
Я бежал и подвезти просил.
Но без груза не берет возница
И горит зеленый глаз такси.
Пусть блаженное незнание жизни
Снизойдет по-прежнему ко мне.
В небе световой рекламой брызнет

И напишет красным по волне.
Облако от облака прикурит
И пройдет наряд береговой.
Пуст базар. Непроданные куры
В черной связке никнут головой.

БАЛКОНЫ ОСЕНЬЮ

1

Булавочный просвет того балкона —
Бессмыслица — балкон распахнут весь.
Но к малости пространство благосклонно
И свой отсчет берет отсюда днесь.
Что пустота — казалось бы—изъятье,
А купол неба не бывает пуст:
Сорвется голубь, словно слово с уст,
И самолета высится распятые.

2

Вот ожерелье желтое шафрана,
От вымысла оно на волосок,
И связка перца (до чего багряна!),
А как балкон прекрасен и высок.
Доподлинность мгновенна и пространна:
Шафран, во-первых, перец, во-вторых,
И так две связки — перца и шафрана.
Что в-третьих? Связка шпилек бельевых.
Есть в этом род зависимости милой:
Знать наизусть, не ведать ни о чем.
Балкон. Балкон.

3

Уж не одной могилой
Сей мир причастья к свету помрачен.
Тут жил мой друг. Там детство протекало.
«И папочка, и мамочка, и сын...»
Как в песенке.
И очередь стояла —
Давали керосин.

4

Я прохожу прохожей слабой тенью.
О чем же говорит мне каждый кров?
Порядок мертв. Учись лишь запустенью —
На выбор — у балконов и дворов.

23/XI-1973 г.

РЕНЭ

Автобус. Дождь не устает косить —
В полях уже не всколосятся злаки.

Но тень твою я мог бы воскресить
Одним лишь прежним восклицаньем:

маки!

1968

* * *

Меня обогащает разоренье —
Но опыт каждый — тот же штраф!
Опять плати по счету и сомненье
Оставь, оставь, оставь, оставь.
Особенно же дороги подарки.
Подарок — дар. Не верь ему, не верь.
Но уст коснись. О, почему так ярки
Прозренья в слепоте. Впредь. Ране. И теперь.

1972

ГАЯНЭ

Тут летняя у осени пора,
Закон один: томленье и беспечность,
Вдруг пыльщики стоят среди двора,
Все дорого — бесплатна бесконечность.
Дрова из лесу — детское «вестимо»
Послышалось, завьется стружкой дым.
А может быть, огонь растет из дыма
И мох зеленый неуничтожим?
С предлогом «ва» — и двор уже иной
И в «вадваре» — субстанция иная.
Вокруг вода такая земляная,
В отличие от просто водяной.
Прекрасны рыб воздушных косяки,
Давно минувшие мелькают лета.
Волнуют нас не только плавники,
Но даже иглы рыбьего скелета.
Эх, были-жили, глубоко вдыхали,
Не удивлялись рыбам, но едва
Она в тарелки шлепалась: жива!
Всегда жива, по имени цоцхали.
Уносит гном готовые дрова
И курд-подвал топорщится усами,
Один Тифлис под всеми небесами,
И пыльщики уходят со двора.
А ночью слышен шелест легких шин.
Везет фонарь старинная двуколка.
— Но как, скажи, дудят в трубу-кувшин?
— А как бы пьют, а как бы пьют — и только!
Как на одной картине — все точь-в-точь.
Да вот еще: Лев на окне и ночь.

1969

* * *

...Черновики уничтожают
Свои, чужие ли стихи —

Любые в замысле плохи.
Стихи не пишут, а спасают.
Спасают, перевоплощая.
Что может выше неба быть?
Необходимо упрощая —
Все упрощая — углубить.

1971

* * *

Балдахины гудят надо мной,
Где старухи окрашены хною.
Чайхана, чайханы, чайханой
Чайхане, чайхану, чайханой.
Обойди, обойдусь, обойду...
Пахнут дымом восточные грозы.
Панджу-як, шашу-беш, се-байду —
Катят кости во всю виртуозы.
В общем это единственный звук.
Как растет он в ночи, будь неладен,
И стремителен взмах этих рук,
Словно у пианиста украден.

1972

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Бегут трамваи по траве,
Окраина — бескрайна.
Где я, где ты? Те тени две —
Прекрасна эта тайна.
Мы плотно ставни притворим,
Оставим только щелку.
Заговорим, отговорим
Без умолку и толку.

1972

* * *

Лестница, куда твои ступени?
Поздней ночью встану на колени.
Поскрипи еще, как мышка полевая,
Винтовая, винтовая, винтовая.

1970

* * *

А где-то тянет по привычке
Перонный жалостливый дым.
Давай сейчас на электричке
В твоё лазорье угодим.
Тут все — твоё. Бери — любое
На память — якорную щель
И рядом море голубое.

Но не кончается туннель...
Что значит неумолчный рокот,
Мурлыканье довольных сфер,
Кто их на землю с неба сверг
И тут наладил ненароком?
Но как строку не завершай,
А все к тебе вернется вскоре
За горьким шепотом: «Прощай»,
Не детское ли: «Здравствуй, море!».

1965

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

1.

Была жара. Витал Фуникулер,
Маня к себе прохладой точки верхней.
Асфальт, углы, дворы и сквозь прорехи
Дворовые — заоблачный шатер.
Как черный ручеек, бежал канат
И исчезал иль усыхал бесследно,
Догнать его, догнать и доконать
Стремился кто-то без успеха в этом.
Бежал канат, и улица видна,
Та улица, но стен еще не видно.
В кабине спотыкались: Мтацминда!
А по-грузински правильно:

Мтацминда.

Внизу Тбилиси колыхал Тифлис.
А женщина с ребенком — из Рязани.
Две фрески и два выхода сплелись
За облаком — сказанием в сказанье.
То был особый час, когда ты весь
Сосредоточен на одном мгновенье,
Когда в глаза табличка — «точный вес»
Достаточный предлог для вдохновенья.

2.

Неточен точный вес. Дотошен
Старик, но врут его весы,
И лишь гранитные усы
Вернут утерянную точность
Нам в сходстве том, где монумент
Встает, царит в модели дохлой.
Сейчас взмахну мечом Дамокла.
Сумбур, сумбур. Один момент,
Который упускает тип —
Фотограф с древнею треногой...
Как мало нужно, как немного,
Чтоб жалость в сердце породить.

И с этой жалостью, бог весть
Зачем явившейся, не жалкой,
Качнешься на площадке валкой,
Воспринявшей твой точный вес.
Но вверх сквозь заросли, на угли,
Что жгут, но ты не обожжен,
Сквозь вереницу местных жен,
Внимание: нога из туфли!
Являя напоказ изъян,
В частях и в целом тошнотворный,
Во взгляде мужа непритворном
Он словно скальпелем изъят.
Взгляд был и зрячим и незрячим,
И углубленным и пустым,
Он что-то значил и не значил,
Его объект—предмет иль дым?

* * *

Основа бытия проста,
Она не терпит превосходства.
Дай бог, чтоб уровня уродства
В цене достигла красота.
Но дальше, дальше мне б скамью
Садовую, ту, что от быта
Садов и парков за семью
Печатями была б сокрыта.
Мне б в невообразимый ход
Природы, в замкнутое зданье
Ее таинственное — от
Трепета до содроганья.
Ты помнишь тот огромный вал
Морской, закрученный? И что же?
Ведь ветер был тогда ничтожен,
В сравненье с валом слишком мал.
Да, набежавший ветерок
И солнце за минутной тучей
Рождают во сто крат могучей
Движение, чем сам исток.
Я утверждаю, что Река
Во многом словно ниоткуда!
Ведь таяние ледника
Безмерное — поменьше чуда
Текущих непрерывно вод
И зарождения пучины.
А у людей — наоборот:
Сильней, чем следствия, — причины.

Нонна ЭЛИЗБАРАШВИЛИ

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРИТИК

...Я все больше пленяюсь его умом, зрелостью и тактом.

Из письма И. Е. Репина к Н. А. Городецкой.

* * *

В жизни Сергея Митрофановича Городецкого — поэта, драматурга, художника — заметный след оставило его пребывание в Грузии. Считалось, что он впервые прибыл в Грузию в 1917 году, отправляясь в качестве военного корреспондента на турецкий фронт. На самом деле его связи с Грузией более давние и прочные. Как удалось выяснить по страницам тифлисской печати 1907 года, именно тогда, в год своего литературного дебюта, после выхода в свет первого сборника стихов «Ярь», Городецкий побывал в Тбилиси, где был встречен местной художественной интеллигенцией с особым вниманием и интересом. Пребывание это было кратковременным, но оставило след и в памяти, и в творчестве поэта.

Неизгладимое впечатление произвел на Городецкого город, которому он посвятил ряд стихотворений, печатавшихся начиная с июня 1907 года на страницах газеты «Закавказье» (редактор-издатель Л. Готуа).

Стихотворение «Тифлис» было написано Городецким в Петербурге 27 июля, а уже 9 августа оно появляется в газете «Закавказье». Этот факт свидетельствует о постоянных и тесных контактах Городецкого с литературной общественностью города.

**Тифлис, жемчужина жемчужин
В короне вечных городов! —**

воскликает поэт. Его восхищает своеобразный облик города:

**...На зеленеющие склоны
Ползут дома, и на балкон**

Встают еще, еще балконы,
Глядишь, как будто видишь сон.

...И там, Тифлис, твои улады
И голос твой я полюбил,
Когда, покинув гор громады,
Я взор в долину опустил.

В стихотворении «Воспоминание» поэт опять возвращается к описанию волнующего своеобразия Тбилиси:

Растет в долине панорама;
Чем выше, тем Тифлис видней —
Сын христианства и ислама,
Огонь от разных двух огней.

Как он раскинулся раздольно
До самых, самых близких гор.
Но за Курюю вдоль невольно
Двойной уносится наш взор,

Туда, где вечными снегами
Едва белеющий Казбек
Над пышноцветными лугами
Лелеет царственный свой век...

С. М. Городецкий пристально следит из своего петербургского далека за событиями общественной и литературной жизни Грузии. Потрясенный неслыханным злодейством — предательским убийством Ильи Чавчавадзе, — поэт пишет глубоко прочувствованное, взволнованное стихотворение «Памяти грузинского поэта», появившееся в газете «Закавказье» 23 сентября 1907 года:

...Тебя не знал я, свет народа,
Но знаю я тебя, поэт,
Когда народ и мать-природа
Лелеют в сыне вечный свет.

И сын свой голос подымает
Такой великий и простой,
Что каждый в трепете внимает,
Чужой светлея чистотой.

Поэт вспоминает о трагической гибели Лермонтова и Грибоедова и восклицает:

Печален свет воспоминанья.
И эта, Грузия, печаль
Венцом венчает состраданья
Твою тоскующую даль.

Тебя, живую в горе давнем,
Пусть твой поэт всегда живит,

**Чье тело брненное под камнем
Да сохранит святой Давид.**

Увлечшись затем острой литературной полемикой и борьбой, развернувшейся вокруг символизма как направления, работая над эстетическим и теоретическим обоснованием акмеизма, одним из основоположников которого он являлся, Сергей Митрофанович Городецкий постепенно отошел от своих тифлиских знакомых, утратил былые связи и вновь оказался в Пруссии лишь в 1917 году.

Годы, проведенные в Тбилиси, с 1917-го по 1919-й, оказались для него очень плодотворными, еще более укрепили связи с местной художественной интеллигенцией.

Время было сложное, грозное. К власти пришли меньшевики, но проводимая ими бесхребетная политика уступок крупной буржуазии, заигрывания с государствами Антанты привели страну к экономической анархии, хозяйственной разрухе и иностранной интервенции.

Крепла и ширилась борьба трудящихся за свои права.

Этой грозовой атмосферой, а также ожиданием грядущих перемен определялся небывалый подъем художественной жизни Тбилиси в 1917 — 1920 годах.

В силу ряда исторически обусловленных обстоятельств художественной жизни Тбилиси был присущ многонациональный характер. В это время здесь оказались многие представители российской художественной интеллигенции: поэты С. Рафалович и А. Крученых, художники С. Судейкин и С. Сорин, композиторы Н. Черепнин и С. Корона. Все они, так же как и С. Городецкий, принимали активное участие в художественной жизни города. Городецкий выступал как поэт, живописец и художественный критик. Именно последнее в его творческой биографии оказалось наименее изученным. Для ознакомления с идейно-эстетическим кредо Городецкого — художественного критика — необходимо более пристально изучить и проанализировать его деятельность в Тбилиси в 1917 — 1919 годах.

Особый интерес представляет и то обстоятельство, что фактически как художественный критик Городецкий впервые стал выступать на страницах тифлисской печати.

Художественный быт того времени был богат событиями: это и выставки всевозможных направлений — от верного традициям салонного академизма Кавказского общества поощрения изящных искусств до крайне левых футуристических выступлений К. Зданевича; это первые выставки сложившихся к тому времени местных национальных школ живописи (грузинской и армянской); это различные объединения литераторов и поэтов, широковокательно заявлявших о себе и своих идеях. Помимо Кавказского общества поощрения изящных искусств, устраивала свои выставки группа художников под названием «Малый круг»; пытались создать свою организацию футуристы, предводительствуемые братьями Ильей и Кириллом Зданевичами, И. Терентьевым, поэтом А. Крученых, разворачива-

лась выставочная деятельность «Грузинского художественного общества» и «Союза художников-армян». Оба эти объединения сохраняли дружественные взаимоотношения, не замыкаясь в рамки узконациональных интересов.

Даже этот краткий перечень свидетельствует о разнообразии художественного климата Тбилиси, о сосуществовании в нем различных интересов и направлений.

В эту бурлящую среду сразу же по приезде окунулся и С. Городецкий, который начинает сотрудничать в газете «Кавказское слово», выходящей в Тбилиси с 1914 года. Свои литературно-художественные критические статьи С. Городецкий печатает регулярно в отделе «Искусство и литература», который сам же и редактирует. Одновременно он принимает активное участие и в литературной жизни города, выступая как поэт.

Круг его интересов необычайно широк, он организует выставку детского творчества и пишет об этом статью, издает литературно-художественный журнал для детей «Райский орленок», в котором все, начиная от заголовка, включая стихи и рассказы, сделано самими детьми. Городецкий принимает участие в организации «Цеха поэтов» по образцу петербургского. Будучи штатным сотрудником газеты «Кавказское слово», откликается на все события художественной жизни и является председателем секции «Старый Тифлис», занимающейся вопросами пропаганды старины и охраны памятников архитектуры; наконец, редактирует журнал «Арс», выходящий в 1918—1919 годах в Тбилиси.

В статье «Задачи художественного журнала в Закавказье» («Кавказское слово», 1918, 11 мая) Городецкий высказал целый ряд интересных мыслей и наблюдений.

Говоря о Закавказье в целом, Городецкий отмечал, что «в каждой из закавказских культур таятся сокровища, еще не исследованные, еще не обнаруженные и каждая из них имеет право на полное свое выражение...».

Поэтому основной задачей художественного журнала в Закавказье он считал «исследование, изучение и обнародование архитектурных памятников края, их фресок и барельефов». На страницах этого журнала должны быть отражены также история и археология.

По мысли Городецкого, такой журнал, наряду с решением целого ряда местных задач, должен сохранить и традиции русских художественных журналов.

Таковы, по его мнению, основные принципы издания художественного журнала в Закавказье. Эти принципы и были положены в основу издания журнала «Арс».

В редакционной статье издатель (А. Антоновская) и редактор (С. Городецкий) высказывают свое идейно-эстетическое кредо:

«В смысле эстетических верований мы будем держаться основного рула нового русского и европейского искусства. Оно определилось в России журналами «Мир искусства» и «Золотое Руно», заменяя лабораторную узость последних бо-

лее пространным горизонтом». Руководители «Арса» следующим образом определяли круг проблем, их интересующих и составляющих содержание журнала: «Искусство всех народов Закавказья нам дорого одинаково... Развалины Ани и фрески Зарзмы, скульптура Ахтамарского монастыря или современная школа грузинских символистов — все равным образом входит в круг нашего внимания». Свою задачу они видели в том, чтобы «объединить все художественные и научные силы Закавказья». В тех условиях эта задача носила прогрессивный характер.

Этой программы журнал и придерживался во весь период своего недолгого существования (три номера вышло в 1918 году и один в 1919 году).

Трудности издания, нерегулярность выпуска журнала приводили к тому, что основные художественные события находили отражение на его страницах в виде хроникальных заметок, большая часть которых принадлежала перу Городецкого.

Если говорить об идейных позициях журнала и мировоззрении его издателей, то у них было действительно много общего с «Миром искусства». Им так же, как «мирискусникам», было присуще стремление противопоставить тревожным событиям действительности «вечные», как они считали, духовные и художественные ценности, они верили в спасительную силу красоты и преобразующую роль искусства.

Однако на практике журнал оказался значительно слабее и уже намеченной его руководителями программы.

Что касается Городецкого, то свои основные художественно-критические статьи он печатал на страницах газеты «Кавказское слово». Его эстетические принципы наглядно проявились в дискуссии с художником Г. Башинджагяном, развернувшейся на страницах «Кавказского слова» и имевшей большой общественный резонанс.

В начале XX века русское искусство переживало новый этап своего развития, выразившийся в отходе от реализма XIX века и в стремлении обрести новые способы осмысления и отражения окружающей действительности. Новый метод включал в себя, как одну из составных частей, «активное преобразование природы в художественный образ, отнесения на второй план задачи прямого жизнеподобия»¹.

Башинджагян, будучи продолжателем — и в теории и на практике — передвижнических традиций, отстаивал старый реализм, реализм передвижнического толка. И хотя теоретические положения Башинджагяна были верны, его творческая практика не соответствовала теории: ко времени начала дискуссии его пейзажи уже воспринимались как вчерашний день живописи. В резкой полемичности высказываний спорящих слышатся отголоски напряженной и острой борьбы, которая велась в свое время «мирискусниками» против пережившего

¹ «История русского искусства». Под редакцией И. Э. Грабаря. Т. X., кн. I, М., «Наука», 1968.

свои демократические идеалы передвижничества с одной стороны и салонного академизма — с другой.

Позиции Городецкого нашли наиболее яркое воплощение в написанной им рецензии на выставку Кавказского общества поощрения изящных искусств. В этой рецензии Городецкий гневно обрушивается на царящие на выставке шаблон и рутину с позиции критика, воспитанного на традициях «Мира искусства». «Это не искусство, а ремесло, — пишет он... — Во всех этих картинах нет композиции, нет личности, не видно художника».

Его возмущают «отсутствие формы, беспорядочность мазка, вульгарная цветистость» ряда работ.

Эстетические вкусы и пристрастия сблизили Сергея Городецкого с грузинскими символистами — поэтами-голубороговцами Паоло Яшвили, Тицианом Табидзе и Валерианом Гаприндашвили. С. Городецкий и А. Антоновская считали необходимым их привлечение в «Арс», и голубороговцы вошли, в дальнейшем, в состав редколлегии.

Если журнал «Арс» был проводником сформулированной Городецким идейно-эстетической программы, то на практике эти художественные принципы нашли воплощение в выставках объединения «Малый круг». Как видно из названия, эти выставки носили камерный характер: свои произведения представляли десять художников, но состав их от выставки к выставке менялся.

Рецензируя первую выставку, Городецкий правильно охарактеризовал «Малый круг», заявив, что он «не является объединением внутренне между собой связанных художников. Это скорее профессиональная организация, поставившая во главе себя жюри со вкусом и пониманием дела, и, как в таковой, в ней заключается здоровое ядро, способное к развитию».

Им сразу же была отмечена и неоднородность творческих манер художников и даны довольно точные и интересные оценки ряду представленных работ.

Вторая выставка «Малого круга», устроенная ровно через год, в мае 1919 года, стала уже событием в художественной жизни Тбилиси благодаря участию художников С. Судейкина и С. Сорина, представивших большое количество работ. Именно их анализу, в частности картине С. Судейкина «Карнавал», и посвятил Городецкий основную часть своей статьи.

Судейкин, его личность и творчество сильно занимали Городецкого. В статье «Трагедия художника», опубликованной в «Кавказском слове» (1918, 26 июня), написанной по поводу слухов о душевной болезни Судейкина, Городецкий еще раз излагает свои взгляды на роль искусства и художника:

«Обломовщине пришел верный конец, и теперь все работоспособные... силы должны быть на учете... Предстоит огромная работа по организации и концентрации народного гения... Особенно трудно терять теперь художников... И когда уходит с работы такой талант, как Судейкин, чувствуешь тяжесть неимоверную».

Интерес Городецкого к Судейкину был, видимо, вызван еще и тем, что к этому времени, т. е. к 1917 — 1919 годам, для критика эталоном была эстетика и художественная прак-

тика «Мира искусства», а в творческом мышлении Судейкина, как указывает В. Петров, «ярче и полнее, чем у кого-либо из его сверстников, сказались основополагающие эстетические принципы «Мира искусства» — стилизация, ретроспективизм и истолкование действительности как театрализованного зрелища».

Городецкого привлекает, возможно, умение Судейкина самостоятельно осмысливать творческие концепции «Мира искусства» и «развивать те элементы, которые были созвучны особенностям его творческого видения, а также сила его живописного дарования».

Это находит отражение в его критических статьях.

Позднее Судейкину посвящается сонет, в котором явственно звучит восхищение и чувство духовного родства с ним:

Полупрезрительной улыбкой озирая
Пустой реальности беснующийся ад,
Ты открываешь двери золотого рая,
В не виданный никем из смертных вводишь сад.
...И средь таинственно пленительных фигур
Стоит никем еще не понятый Судейкин.

К сожалению, отъезд Городецкого в конце 1919 года из Тбилиси в Баку лишил его возможности ознакомиться с одной из самых фундаментальных работ Судейкина — росписью клуба грузинских поэтов-символистов «Химериони».

Интересная особенность в художественной жизни Тбилиси этих лет — тяга к созданию монументально-декоративных росписей, в чем выражалось, видимо, стремление возродить масштабные формы искусства. Объяснение этому явлению, возможно, следует искать в повышении как научного, так и массового интереса к наследию древнегрузинской фресковой живописи, интереса, особенно возросшего в связи с рядом научных экспедиций в Турцию для изучения, обмера и зарисовки памятников грузинского национального зодчества, оказавшихся на ее территории.

Сергей Митрофанович Городецкий был первым художественным критиком, обратившим внимание на появление этих новых видов искусства, по своему характеру соответствующих масштабным явлениям действительности.

Помимо росписей «Химериони», сделанных С. Судейкиным, Л. Гудиашвили и Д. Какабадзе, к этому же времени относится декоративное убранство подвала «Ладья аргонавтов» и пристанция поэтов «Фантастический кабачок», а также фрески С. Судейкина в фойе домашнего театра М. Туманишвили. Среди авторов этих росписей, помимо уже названных, встречаем имена как профессиональных художников (А. Бажбеук-Меликов, А. Зальцман, К. Зданевич), так и непрофессионалов (А. Петраковский, И. Зданевич, Ю. Деген). Ни одна из этих росписей не сохранилась, и реконструировать их, за исключением «Химериони», нет никакой возможности. Поэтому так важно описание росписи в подвале «Ладья аргонавтов», данное С. Городецким в одноименной статье. Оно дает возможность не только мысленно восстановить внешний вид росписи,

но заодно представить и взгляды критика на проблему синтеза архитектуры и монументально-декоративной живописи. Расценивая декоративное убранство «Лады» как «опыт художников», Городецкий с сожалением констатирует, что индивидуальности архитектора и художника мешали друг другу, а это привело «к некоторой расколотости в архитектуре и живописи».

Критик отмечает удачу молодых художников Гудиашвили и Бажбеук-Меликова: «Роспись очень хороша (в раздевалке). Она принадлежит Гудиашвили и Бажбеук-Меликову. По черному фону яркий орнамент. Гудиашвили угадал настроение входа».

Характерной чертой деятельности Городецкого-критика был просветительский пафос. В его выступлениях постоянно сквозит забота об охране памятников старины, желание возбудить всеобщий интерес к искусству прошлого.

«Мы хотим сохранить для потомства то, что уцелело до наших дней, — пишет он в одном из своих выступлений. — Нужна немедленная работа по охране старины».

Живой интерес и участливое внимание проявил Городецкий к выставке работ архитекторов Б. Рябова, М. Керна и Н. Северова, показавших свои зарисовки памятников грузинского зодчества на территории Турции.

Городецкий пишет об этой выставке в газете «Кавказское слово», а позже и в хроникальной заметке в журнале «Арс»:

«Такие коллекции должны приобретаться целиком в народное достояние, как имеющие исключительную научно-художественную ценность».

Один из лейтмотивов всех критических выступлений Городецкого, предмет его забот и пристального внимания — это вопрос о создании художественной среды в Тбилиси и устройстве салона, т. е. периодических выставок современного искусства.

«Устройство салона — насущная потребность момента, — писал он, — салона, где могли бы найти импульс для дальнейшего движения вперед художники зрелые, а молодые — первое осознание своих сил...»

С большой доброжелательностью и заинтересованностью следил критик за развитием творчества тбилисских художников — Ладо Гудиашвили и А. Бажбеук-Меликова. Он не успел написать об этом, хотя, видимо, и собирался. В журнале «Арс» (1919, № 1) в хроникальной заметке «Выставки в 1918 году» Городецкий писал: «...1918 год подарил нам Л. Гудиашвили. Выставка его картин, устроенная совместно с А. Бажбеук-Меликовым, была одной из первых побед грузинской живописи».

Отмечая «несомненный талант» Гудиашвили, критик высказывает надежду, что «большая задача, поставленная... художником, не помешает его развитию».

О прозорливости Городецкого-критика, его тонком чутье говорит и то внимание, с которым он отнесся к юному Зиге Валишевскому. Именно Сергей Митрофанович Городецкий был

одним из тех, кто серьезно заботился о развитии таланта Валишевского, сумев разглядеть в нем оригинальность и самобытность будущего большого художника.

Критик советовал ему «отказаться от всякого рода вундеркиндства и заняться серьезной штудировкой», не разминать талант по пустякам. Их личные взаимоотношения носили характер дружественного, чуть иронического подтрунивания и сопровождались веселыми розыгрышами и остроумными карикатурами, которые мастерски и живо рисовал Валишевский.

Оценивая деятельность Городецкого за короткий период его пребывания в Тбилиси, необходимо отметить ту положительную роль, которую сыграл он в развитии местной художественной критики. Нельзя не признать, что деятельность тбилисских художников еще никогда не удаивалась столь пристального интереса и глубокого профессионального критического разбора, как в статьях С. М. Городецкого. Хотя критик не был непосредственно связан с пролетарской идеологией, он испытывал воздействие передовых художественных взглядов, и это было своеобразным знаменем времени.

Статьи, критические выступления и эстетические воззрения Городецкого вносили в художественную жизнь города новые идеи и новые представления об искусстве, ставили новые творческие проблемы. Поэтому его художественно-критическое наследие не утратило до сих пор своего значения.

СЛУЖИТЕЛЬ МУЗЫКИ

Имя музыкального и литературного деятеля второй половины XIX столетия Александра Соломоновича Размадзе незаслуженно забыто советской музыкальной общественностью. Получив солидное музыкальное образование в России и за рубежом, он более двадцати лет беззаветно служил интересам русской музыкальной культуры.

Обладая ярким литературным даром, унаследованным от отца, знанием иностранных языков, А. Размадзе выступал и как автор интересных литературных очерков и переводов. К сожалению, о его многогранной деятельности написано очень мало; мы знаем о Размадзе лишь по скудным сведениям из энциклопедических словарей Брокгауза, Римана и других. Между тем существует довольно обширный документальный материал о нем, который еще не изучен нашими музыковедами.

Цель настоящей статьи — воссоздать творческий портрет Размадзе, музыкального и литературного деятеля.

Александр Соломонович Размадзе родился в 1845 году вдали от своей родины, в г. Пензе. Его отец Соло-

мон Иванович был в свое время видным общественным и литературным деятелем Грузии, который за участие в заговоре 1832 года против русского самодержавия был навсегда сослан в Пензу, где и умер в 1862 году.

В Пензе Соломон Размадзе женился на дочери местного купца — Елизавете Ивановой, которая в 1845 году родила сына Александра, ставшего впоследствии музыкальным и литературным деятелем России.

Начальное обучение А. Размадзе получил дома. Одиннадцати лет его отдали в Пензенскую гимназию, славившуюся в то время превосходным педагогическим составом, среди которого был молодой Илья Николаевич Ульянов (отец В. И. Ленина).

В 1862 году с похвальной грамотой и золотой медалью Размадзе окончил Пензенскую гимназию, и в том же году он отправился в Москву для поступления в университет. Здесь его зачислили на юридический факультет.

Музыкой Размадзе начал заниматься с ранних лет. Он весьма успешно обучался

игре на фортепиано. Постепенно у него зарождается страстное желание глубже овладеть игрой на этом музыкальном инструменте.

Многообразная и интенсивная музыкальная жизнь Москвы оказала на юного Размадзе настолько сильное воздействие, что он решил сменить профессию. В это время он совершенствует свою игру на фортепиано и углубляет музыкально-теоретические познания. С целью овладения высшим музыкальным мастерством он в 1867 году едет в Лейпциг и поступает там в консерваторию.

Лейпцигская консерватория хотя не принадлежала к числу старейших высших музыкальных заведений в Европе, но благодаря сильному педагогическому составу превратилась вскоре в подлинную кузницу высокопрофессиональных музыкальных кадров. Сюда устремлялись молодые музыканты из разных стран мира, в том числе и из России. Между прочим здесь впервые встретились и подружились А. Размадзе и начинающий украинский композитор, впоследствии основоположник украинской классической музыки Николай (Микола) Виталиевич Лысенко. Дружба между ними была весьма крепкой и, видимо, продолжалась долго. Вот как описывает сам Николай Лысенко эту встречу, которая произошла в октябре 1867 года: «...Позавчера подошел ко мне некто Размадзе, грузин, и заговорил чистым московским языком. Он тоже студент Московского университета, приехал на

год в консерваторию, так как силен в теории и оркестровке».

В Лейпцигской консерватории А. Размадзе брал уроки игры на фортепиано у знаменитого пианиста профессора И. Мошелеса (у которого учились в свое время Шуман и Мендельсон), а по теории — у проф. М. Гауптмана.

Во время учебы в Лейпцигской консерватории А. Размадзе часто выступал как пианист на ученических вечерах. Следует особенно отметить его участие в торжественном концерте, который состоялся весной 1868 года в честь 25-летия со дня основания Лейпцигской консерватории. Осенью того же года А. Размадзе окончил Лейпцигскую консерваторию по двум специальностям: фортепиано и теория музыки и вернулся в Москву. Через год он был приглашен директором Московской консерватории Н. Г. Рубинштейном на должность адъюнкта для ведения класса фортепиано, а в 1870 году он стал возглавлять кафедру истории и теории музыки. В том же году его избрали профессором консерватории и членом художественного совета. Параллельно с работой в консерватории А. Размадзе вел широкую критическую и публицистическую деятельность.

Для характеристики научно-педагогической деятельности Размадзе главное значение имеет руководство им кафедрой всеобщей истории музыки. По установившейся традиции в учебных программах консерватории курс истории музыки не занимал самостоятельного поло же-

ния. Он входил вместе с другими предметами (инструментоведение, форма и контрапункт) в так называемую «музыкальную энциклопедию», читаемую в один семестр. А. Размадзе значительно расширил программу этого предмета, доведя его до одного года. Кроме того, свои лекции он систематически публиковал в журнале «Музыкальный вестник». Впоследствии они вышли в свет отдельной книгой под названием «Очерки по истории музыки» (1888 г.).

Музыкальная общественность Москвы и Петербурга тепло встретила появление на свет «Очерков...», в которых так остро нуждались учащиеся музыкальных школ и консерваторий России.

Педагогическая деятельность Размадзе в Московской консерватории продолжалась недолго. Вскоре между ним и директором консерватории Н. Рубинштейном возникли разногласия принципиального характера, в результате чего ему пришлось в 1875 году оставить ее.

Вслед за уходом Размадзе по той же причине покинул консерваторию профессор по классу фортепиано П. Шостаковский, который вскоре сам организовал частную музыкальную школу, куда пригласил работать и Размадзе.

Основанная П. Шостаковским школа быстро окрепла и превратилась в крупное учебное заведение, известное под названием «Музыкально-драматического училища». Оно готовило музыкантов и актеров драмы. Музыкальную часть возглавлял

П. Шостаковский, а драматическую — В. И. Немирович-Данченко.

Московское музыкально-драматическое училище руководствовалось консерваторской программой и воспитало немало первоклассных музыкантов - исполнителей и театральных деятелей. Достаточно вспомнить, что из этого училища вышли композитор Н. Калинин, певец Собинов, артисты драмы Книппер-Чехова, Москвин и другие. Здесь же получили музыкальное образование грузинские композиторы И. Каргаретели, Д. Аракишвили и другие.

В музыкально-общественной деятельности А. Размадзе основное место занимает критика. Сразу после возвращения из Лейпцига в Москву он был приглашен главным редактором еженедельного журнала «Музыкальный вестник». Журнал широко освещал музыкальную жизнь Москвы и других городов России, в нем печатались произведения русских и зарубежных композиторов. Здесь же публиковались критические статьи, фельетоны Размадзе и его фортепианные и вокальные сочинения.

Однако «Музыкальный вестник» просуществовал всего три года. После этого Размадзе стал специальным корреспондентом «Петербургского музыкального листка», выходившего под редакцией В. Бесселя. Одновременно он сотрудничал в «Русских ведомостях» и «Русском курьере» в качестве главного музыкального рецензента.

В своих критических статьях и заметках (их около

300) А. Размадзе откликался на все значительные события музыкальной жизни Москвы, будь то спектакли оперного театра, симфонические и камерные собрания, выступления народных художественных коллективов и т. д. Но центром внимания Размадзе - критика всегда были спектакли Московского Большого театра.

Как известно, в 60—80-е годы прошлого столетия сцена Большого театра была передана в руки итальянских импрессарио, и они пользовались неограниченными правами. Нельзя отрицать, что господство итальянских оперных трупп на московской сцене имело в то время весьма положительное значение постольку, поскольку они способствовали популяризации мировой оперной классики. Но несомненно и то, что факт этот значительно тормозил развитие и пропаганду отечественной музыки. Для постановок русских опер дирекция театра выделяла не сколько дней в месяц. Это вызывало постоянные протесты и нарекания со стороны передовых слоев музыкальной общности Москвы. Против антипатриотических действий дирекции театра постоянно поднимали свой гневный голос П. И. Чайковский и А. С. Размадзе. Положительно оценивая роль итальянской оперы в духовной жизни Москвы, они вместе с тем призывали русское общество бороться за широкое признание достижений русских композиторов в области оперного творчества. Насколько глубоко волновала Размадзе судьба Боль-

шого театра, видно из того факта, что он посвятил ему специальную брошюру «Наша опера и ее хозяйство», которая вышла в свет в 1886 году в Киеве.

Интересны высказывания А. Размадзе о творчестве русских композиторов. Он отдавал глубокую дань основоположнику русской национальной музыки М. И. Глинке, называя его оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» «божественными творениями», непревзойденными образцами русской музыки. Из «Могучей кучки» он особо выделял Бородина и Мусоргского, был очарован их глубоко самобытным эпическим талантом, проявлял сдержанность в оценке творчества Римского-Корсакова. Что касается организатора и вдохновителя «Могучей кучки» Балакирева, то его он считал даровитым композитором, от которого многого можно ждать. Однако лучшими его сочинениями признавал те произведения, которые тематически связаны с грузинской музыкой и музыкой других народов Кавказа.

А. Размадзе был, пожалуй, одним из первых среди русских критиков, кто сразу оценил огромный композиторский талант молодого Чайковского, расцветавший на его глазах. По его словам, Чайковский в своем творчестве развивал реализм в музыке.

Большое число критических статей и рецензий посвящено творчеству западноевропейских композиторов. Особенно он ценил лучезарную музыку гениального австрийского композитора Моцарта. Однако из его

ствия по городам Германии — Берлину, Лейпцигу, Веймару и другим. В «Письмах» рассказывается о достопримечательностях этих городов, их быте. Касаясь музыкальной жизни этих крупных культурных очагов Германии, Размадзе подробно описывает деятельность Лейпцигской консерватории (где он учился) и ее знаменитого концертного зала «Геванд-хауз», где под руководством первоклассных европейских дирижеров выступал прославленный симфонический оркестр.

Нельзя без чувства благоговения читать те страницы «Писем», которые рассказывают о доме, в котором когда-то жил и творил великий немецкий композитор и органист Иоганн Себастьян Бах. А. Размадзе был частым посетителем этого священного места, так как его педагог профессор М. Гауптман проживал в квартире композитора и по болезни проводил здесь занятия со своими учениками.

Трудно переоценить литературное значение «Писем из Германии» Размадзе. Можно сказать, что они подготовили почву для создания большого историко-этнографического труда «Волга», который вышел в свет в 1896 году.

По всей вероятности, Размадзе писал «Волгу», с одной стороны, для нужд Всероссийской торговой выставки, которая открылась в 1896 году в Нижнем Новгороде, а с другой — из-за усиливавшегося туристского интереса к великой русской реке.

Однако книгу Размадзе нельзя назвать просто путе-

водителем по Волге. Задача автора куда более широка: познакомить читателя со всем, что связано с этой рекой, начиная с Нижнего Новгорода до Астрахани. Здесь и поэтические описания вышитых зеленью берегов Волги, красочных ее ландшафтов, и подробные исторические справки о городах, расположенных по обе стороны реки, а также о древнейших памятниках русского зодчества, монастырях, храмах, феодальных замках, история зарождения навигации на Волге и ее развитие от парусных судов вплоть до быстроходных, комфортабельных пароходов и т. д. Книга богато иллюстрирована, имеет большую познавательную ценность. Недаром А. П. Чехов, познакомившись с ней, рекомендовал всем приобрести ее.

Александр Размадзе одним из первых в России стал переводить произведения молодого французского писателя Мопассана на русский язык. В частности он перевел и опубликовал его роман «Монт-Ориоль» и около 20 новелл.

В 1893—94 годах в Киеве один за другим вышли в свет два маленьких очерка Размадзе «Верхние торговые ряды на Красной площади в Москве» и «Торговые ряды на Красной площади в Москве».

Возникает вопрос: что вынудило музыковеда Размадзе взяться за подобные работы? Дело в том, что после ухода из консерватории он испытывал большие материальные затруднения. В 80-е годы Размадзе начал служить в Московской городской думе. Но должность его была

многогранного творчества предпочтение им отдавалось оперным произведениям, где, по его определению, музыка и слово достигают классического единства и совершенства.

Подобно Моцарту, другой австрийский композитор — Шуберт представлялся ему сказочной фигурой, произведения которого поражают нас своей оригинальностью и «экстравагантностью».

Р. Шумана А. Размадзе называл мечтательным романтиком, однако его музыка тесно связана с реальной действительностью даже в моменты сугубо личных переживаний. Шопена он считал психологом, музыка которого покоряет нас своей страстностью и вдохновением. Р. Вагнеру Размадзе посвящал самые патетические строки, но резко обличал его как публициста.

В своих критических статьях и рецензиях А. Размадзе часто прибегал к переоценке распространенных в публике ложных взглядов на творчество того или иного композитора. В этом смысле весьма показательны оперное творчество гениального итальянского композитора Дж. Верди. Сегодня это звучит как парадокс, но большая часть московской публики 60 — 80-х годов недоверчиво относилась к его оперным шедеврам. Выступая против подобных тенденций, Размадзе ревностно доказывал большое художественное достоинство и мировое значение оперных произведений великого итальянского маэстро.

Многие музыковеды как в России, так и за рубежом параллельно с научной и

критической деятельностью занимались и творчеством. В этом отношении Размадзе не был исключением. Однако его творческая деятельность протекала по двум направлениям — композиторскому и литературному. Как композитор, он автор около 40 сочинений, преимущественно мелкого жанра, т. е. романсов и фортепианных пьес. Романсы написаны на стихи Лермонтова, Гейне, Михайлова и других поэтов. Большинство произведений было издано еще при жизни автора.

А. Размадзе часто гостил в Киеве, вероятно, с целью знакомства и записи украинских народных песен. Предположительно можно сказать, что здесь он встречался с знаменитым слепым kobzarem — Остапом Вересаем, с помощью которого, видимо, записал много украинских напевов. Наше предположение подтверждается тем, что по возвращении в Москву А. Размадзе выпустил в свет свои «Кобзарские песни», посвященные их первому исполнителю артисту Большого театра А. Барцалю. Следует заметить, что среди вокальных сочинений Размадзе именно «Кобзарские песни» имели наибольшую популярность у слушателей, о чем свидетельствует их повторное издание.

Более значительна литературная деятельность А. Размадзе. Первые шаги в этом направлении он предпринял еще в 1870 году, когда в журнале «Музыкальный вестник» появились его «Письма из Германии». Автор живо и увлекательно рассказывает о своих впечатлениях во время путеше-

низкооплачиваемой. Поэтому в 1889 году он начинает работать управляющим и юрисконсультком правления общества «Московские верхние торговые ряды». Это общество приступило вскоре к строительству огромного торгового дома на Красной площади, в котором ныне размещен Государственный универсальный магазин. А. Размадзе был непосредственным участником и делопроизводителем строительства этого гигантского здания от начала до его завершения. По просьбе правления он и написал его краткую историю, которая вышла в двух изданиях на русском и французском языках.

Создавая эти небольшие очерки, Размадзе вряд ли думал, что они когда-нибудь послужат единственным источником для истории этого замечательного памятника русской архитектуры конца XIX столетия. Как известно, основные сведения об этом здании заимствованы авторами пятитомника «История Москвы» (изд. АН СССР) из вышеназванных очерков Размадзе. Однако достоин глубокого сожаления тот факт, что на страницах пятого тома «Истории Москвы» среди имен музыкальных деятелей Москвы 70 — 80-х годов XIX в. отсутствует имя А. Размадзе. Он упомянут только как автор вышеназванных очерков.

Александр Размадзе скончался в 1896 году, он умер в расцвете творческих сил. О его кончине извещали три некролога, опубликованные в петербургской прессе («Русская музыкальная газета», «Новости» и журнал «Исторический вестник»).

Авторы некрологов с болью отмечали, что в последнее время Размадзе был далек от музыкальной общественной жизни Москвы и позабыт всеми. Да это и понятно — его душили тяготы, непрерывная борьба за существование. По этому поводу «Русская музыкальная газета» с горечью писала, что судьба А. Размадзе весьма показательна для положения музыкантов в России.

Александр Размадзе умер в возрасте 50 лет, так и не повидав своей родины, о которой, быть может, всегда мечтал. Но для осуществления этой заветной мечты у него не было ни времени, ни материальных возможностей. Хотя ему не довелось побывать в Грузии, но судьбой ее он, бесспорно, интересовался...

В Театральном музее Грузии хранится несколько писем Размадзе, адресованных Василию Карбелашвили. Этот последний в 1883 году приезжал в Москву, чтобы поступить в консерваторию. На протяжении полугода Размадзе безвозмездно занимался с ним по теории и истории музыки. Но Карбелашвили обзавелся семьей и передумал поступать в консерваторию. Вскоре он принял духовный сан, и вопрос о музыкальном образовании отпал совсем. Можно с уверенностью сказать, что В. Карбелашвили, занимаясь у А. Размадзе, в достаточной мере овладел музыкально-теоретическими навыками, которые впоследствии помогли ему в разработке ряда вопросов грузинской светской и церковной музыки.

В связи с этим возникает другой вопрос: знал ли А. Размадзе грузинскую музыку? Разумеется, без конкретных нотных записей и живых исполнений самих песен ему трудно было бы по-настоящему вникнуть в природу грузинской народной музыки. Определенное представление о грузинской песенной культуре могли дать «этнографические концерты», которые проходили в Москве в 1893 году под управлением композитора Николая Кленовского с участием И. Каргаретели. Но мы не располагаем сведениями, подтверждающими присутствие на этих концертах А. Размадзе.

Личный архив А. Размадзе бесследно утерян. Уцелело лишь небольшое количество писем, которые хранятся в Москве, в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, и в Театральном музее Грузии. Кроме того, существует большой фотоснимок, вывешенный в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В центре снимка — старое двухэтажное здание консерватории, вокруг него размещены портреты первых профессоров этого учебного заведения. Среди них — портрет Александра Соломоновича Размадзе.

ЛИСТЬЯ ПАПОРОТНИКА

Р о м а н

— А где наш зять? Покажите мне его! А, Джибраил, здравствуй! Как поживаешь? Хорошо выглядишь, ей-богу! Верно, что собираешься сейчас исправлять ошибки молодости? Можно, почему же нет... Надо только захотеть, и все можно...

Ирина вспыхнула при этих словах, Джибраил потупил глаза. Дареджан бросилась в комнату и накинулась на Кайхосро:

— Не мог предупредить его, чтоб молчал?

— Кого?

— Твоего друга, кого же еще! Неужели о нашей беде надо кричать на весь мир?!

— Так надо было предупредить меня, я бы знал, что делать! Хорошо, впредь об этом он будет молчать.

За столом было не очень весело, хотя Кайхосро был опытным велеречивым тамадой, гости разошлись раньше, чем предполагалось.

— Да... Не следовало мне говорить при посторонних о твоих грехах. В таком деле лучше хранить тайну. Но ведь как ни скрывай, а земля, говорят, слухом полнится... — обратился Ломкация к Джибраилу.

— Вы правы, — промолвил Джибраил.

— Что скрывать, мои дорогие и любимые, ваше дело не такое уж простое. Я буду говорить с вами прямо и откровенно. Если мы не поддержим друг друга, другие не придут нам на

Продолжение. Начало в № 8.

помощь. Ой, кого я снова вижу, кого?! Такую хорошенькую! — Последние слова Ломкация, разумеется, относились к Гогутуне, которая, подбежав к матери, взобралась к ней на колени и что-то стала шептать на ухо. — Ты не хочешь подойти к дяде Ломкация? Вот погоди, принесу тебе красивые игрушки, будет стыдно, что не захотела подойти к дяде... Я уже говорил Караману о вашем деле, а когда он пристал, чтоб я все рассказал, я не знал, что сказать, и потому промолчал. Я даже не знаю, что он мог подумать. Но ничего, свои люди — сочтемся... А ты, Джибраил, расскажи подробнее, в чем дело. — Ломкация устроился в кресле поудобнее, скрестил белые, ухоженные руки, зажмурился и приготовился слушать.

Но Джибраил сидел совершенно подавленный и растерянный и не знал, с чего начинать. На помощь ему пришла Иринеэ.

— Джибраилу, дядя Ломкация, нужен аттестат.

— Это я знаю... Но какой? Аттестатов много...

— Аттестат зрелости!

— А-а? Теперь понятно. Дальше?

Иринеэ недоуменно пожала плечами.

— Вот мы и просим вашей помощи.

При этих словах Джибраил снова покраснел, нервно зажурился.

Ломкация вдруг сделал такое выражение лица, словно слышит об этом впервые. Долго все молчали, боясь смотреть друг другу в глаза. Наконец Джибраил с трудом выдавил из себя:

— У меня всего восьмиклассное образование...

Кайхосро и Дареджан переглянулись. Эх, чего греха таить, было время, когда они думали, что зять их инженер или техник... Да что теперь говорить об этом!..

— Хм... — Ломкация погладил рукой свой двойной подбородок — Восемь классов. Это не так много... Но и не мало, а? Что скажешь, Джибраил? Помнишь что-либо?

— Очень плохо...

— Дорогой мой Ломкация, — вмешался в разговор Кайхосро. — На тебя вся надежда. Когда-то на такие бумажки никто внимания не обращал, а теперь время другое... Да я в долгу перед тобой не останусь!..

— Ну как тебе не стыдно говорить такое. О каком долге ты говоришь! Если я приду к тебе и попрошу саженец, так ты велишь мне расплатиться? Эх, Кайхосро!.. Чтob я впредь не слышал об этом... Да... А вот если поинтересуются, почему вдруг возникла необходимость в аттестате, что ответить?

Нет, вы что ни говорите, а Ломкация Джишиашвили добрым человеком не назовешь. Видит ведь, что неловко людям, что Джибраил готов со стыда сквозь землю провалиться, а он все твердит и твердит свое...

— По закону, мой дорогой Джибраил, ты должен получить аттестат в той же школе, где учился. Но мы еще поговорим... Одним словом... Вы на всякий случай приготовьте все необходимые бумаги, а там посмотрим... Думаю, все уладится. — Ломкация снова устроился поудобнее в кресле, обвел всех сытыми глазами.

— Вот смотрю я на вас, дети, и не налюбуюсь. Нет ничего лучше семьи, основанной на взаимной любви. Но разве жизнь позволяет нам жить только чувствами и ни о чем другом не думать. Нет, жизнь не дает нам этой возможности. Я хорошо помню, как вы поженились... Джибраил, ты мне сразу понравился. Но давай задумаемся мы с тобой над тем, все ли мы сделали, чтоб наши близкие, семья были счастливы? Ты теперь правильно поступаешь, аттестат тебе необходим... Я знаю, на шахте ты пользуешься уважением... Но ведь нельзя жить с опаской — придет время и спросят, какое у тебя образование... Не жизнь это... Да, разумеется, ты прав... И мы, люди старшего поколения, обязаны помогать вам... И поможем...

Только к двенадцати часам ночи Ломкация покинул гостеприимный дом Кайхосро.

Иринэ видела, как трудно было Джибраилу держать себя в руках. Никогда в жизни он не испытывал такого горького чувства унижения. Но что поделаешь? Они теперь во власти Ломкация Джишиашвили.

* * *

Заведующая канцелярией второй шахты Маргалита Хецуриани вошла в тот возраст, когда женщина вынуждена махнуть рукой на свое счастье и старается убедить себя и всех окружающих, что родилась она на свет только для того, чтоб заботиться о других.

Все на шахте знали, что Иорам Носелидзе приходится Маргалите родственником и что сама Маргалита чуть ли не за руку привела его на шахту и всячески покровительствовала ему.

Теперь у Маргалиты появилась новая забота — женить Иораму. У парня была уже невеста — смешливая и бойкая восемнадцатилетняя Иамзе, работающая в аккумуляторном. Она получала ежемесячно девяносто восемь рублей и ни на минуту не сомневалась в том, что этой зарплаты им с Иорамом вполне хватит.

Пока на третьем участке работал Джибраил, все были спокойны, уверены в будущем, и, следовательно, Иорам мог думать о том, что пора бы и семьей обзавестись.

Но вот сняли Джибраила, назначили молодого инженера, и Маргалита призадумалась. Нет, не потому, что ей было обидно за Джибраила, в глубине души она даже злорадствовала. Призадумалась она потому, что вокруг поговаривали, что новому инженеру будет нелегко руководить участком и, возможно, придет снова пора, когда участок едва выполнял 60—70 процентов плана и все шутили: нельзя выдавать девушку за шахтера с участка Лавросия Абхаидзе. Печальное было время, шахтеры тогда едва сводили концы с концами. Когда плохи дела на шахте, трещат даже старые, налаженные семьи, так какое время думать о новой!

Да, Маргалита не на шутку призадумалась. Как быть? А тут еще всплывали в памяти сотни «а если?», «а вдруг?», «а может быть?». Нет-нет, надо переждать, непременно переждать.

Дни шли за днями, прошла неделя, другая, прошел месяц и — слава богу! Новый начальник участка Теймураз Арджеванидзе, видать, родился в сорочке! А может, он просто хорошо знает свое дело! Так шли иначе, но третий участок не только не снизил норму выработки, — наоборот! Маргалита сама каждый день записывает все большие и большие показатели. И никаких аварий!

А коли так, почему бы молодым не быть счастливыми. Ведь все течет, все меняется. Вот, к примеру, сама Маргалита так поседела, что даже не заметила, когда это произошло. Всему свое время. И раз хотят молодые пожениться — пускай, не будет она мешать их счастью. А если все делать с оглядкой, так и не заметишь, как уплывет счастье — и его не вернуть.

* * *

Когда Мелано принесла дочери первое письмо Теймураза и Александр Баджелидзе, государственный советник юстиции, узнал, что шурина по приезду тотчас назначен начальником участка, он велел жене открыть бутылку «Цинандали» и за обедом произнес следующий тост:

— Первый шаг вашего сына, уважаемая Мелано, и моего шурина весьма, должен отметить, ответственный в жизни, значительный. В его руках не только собственная судьба, но и судьба тех рабочих и шахтеров, которыми он огньше руководит, и я пожелал бы ему оправдать доверие, которое оказали ему местные руководители.

Теймураз и не ведал о том, что его мать получила высочайшее позволение зятя гостить у них по субботам и воскресеньям. Пока что Мелано не могла приехать к сыну. Правда, зарплаты Теймураза вполне хватило бы, чтоб снять где-нибудь небольшую квартиру, но Теймураз опасался, что руководители шахты или треста поймут это как намек на то, что ему следует выделить квартиру вне очереди. Теймураз знал, как остро стоит не только на шахте, но и во всем городе квартирный вопрос — заслуженные, пожилые шахтеры годами ждут своей очереди... Итак, решено! Ежемесячно он будет посылать матери сто рублей, а там, придет и его черед, решится квартирный вопрос, и тогда он непременно вызовет к себе Мелано.

В письме к сыну Мелано писала о том, как она была счастлива, получив деньги сына. Нет-нет, пусть он не думает, что эти деньги нужны ей. Она положила их на сберкнижку и не снимет, пока не настанет день, о котором она мечтает. В свое время он узнает об этом. И еще мать сообщила ему, что недавно к ней заходила девушка — такая красивая и милая! Спрашивала его адрес и обещала написать ему.

У Теймураза тревожно забилося сердце. Неужели его вспомнила Натиа Авалишвили? Нет, не может быть. Она и прожить-то его не пришла. Нет, это не могла быть Натиа.

А на другой день в общежитии ему вручили еще одно письмо. Теймураз взглянул на конверт и чуть было не закричал от радости. Это было письмо от Натии.

«Здравствуй, Теймураз!

Я не такой уж плохой товарищ, как ты, наверное, думаешь или же думал до сих пор. Недостатки есть у каждого. Моя слабость в том, что по каким-то разным причинам (а может быть, и вовсе без причины, этого я и сама не знаю) я не люблю или, вернее, не удается мне проявить внимание к человеку. Кажется, ты это должен понимать! А ведь я более благожелательна к людям, нежели об этом думают многие. И тебе я это говорю потому, что надеюсь: ты поверишь мне, несмотря на то, что особенно внимательной, кажется, я не была и к тебе.

Как ты живешь? Как устроился? В моей жизни — ничего нового. Сижу и жду, когда отчим найдет мне работу. Если он ничего не придумает, я, наверное, буду сдавать в консерваторию. Одна наша близкая знакомая утверждает, что у меня красивый голос. Не знаю, так ли это. Но, во всяком случае, я не обладаю таким мужеством, как ты, чтоб все перечеркнуть и уехать из столицы...

Что ты скажешь, если через двадцать или тридцать лет мы встретимся, ты уже будешь генералом в своем горном деле или даже министром, я же — руководителем хора, фамилию которого на афише и не указывают. Я не удивлюсь этому. Кажется, все-таки я не из счастливых.

Тетя Бабо (Павленишвили, помнишь ее?) шлет тебе большой привет и сообщает, что профессор Шалва Микаберидзе до сих пор сожалеет, почему ты не остался на кафедре и уехал. Это большая ошибка, оказывается, сказал он, что мы не оставляем таких людей в аспирантуре.

Что же еще тебе написать? Пожалуй, на этом я закончу и буду ждать ответа от тебя. Адрес мой ты знаешь.

Натиа Авалишвили».

Когда прошел первый восторг и письмо было прочитано чуть ли не в десятый раз, Теймураз увидел, что Натиа беседовала с ним порой привычным для него и все-таки неожиданно дружеским тоном, откровенно («счастливым меня не называй»), а порой становилась опять-таки в привычную для нее позу равнодушного человека. Чего стоила, к примеру, подпись в конце письма. Неужели трудно было написать хотя бы «до свидания», или «жму руку»? Теймураз корил себя за то, что не написал ей первым, тогда он наверняка бы получил более теплое письмо.

Он сел за стол и стал писать:

«Здравствуй, Натиа!

Я виноват перед тобой. Вот ты пишешь, что я лучше других знаю тебя и ничто в твоём поведении не должно удивлять меня. Ты права, я хорошо знаю тебя, и то, что о тебе порой думают некоторые (а может, ты намеренно убеждаешь их в этом?), мне и на ум не придет, но часто мне не хватает смелости для того, чтоб забыть о твоём характере, вернее — о твоём странном поведении, и быть с тобой таким, какой я с другими. Почему со мной такое творится, никак не пойму.

Наверное, ты и сама не поверишь, если я напишу тебе, что я не удивился, когда ты не пришла провожать меня. Мне было больно. И не только за себя, но и за маму. Она, конечно, молчала, но я замечал, что ей обидно — неужели никто из друзей не захотел проводить меня. Она ведь не знала, что все мои друзья в этот вечер уступили место Натии Авалишвили — она, думали мои друзья, непременно придет провожать и мы будем лишними. Вот получилось, что они не пришли, а Ната Авалишвили меня и не вспомнила, и я оставил на перроне мою бедную маму, удрученную тем, что у меня нет ни одного друга. Я-то тебя хорошо знаю, Ната, но ведь мама моя тебя не знает. Правда, в письме она пишет, что к ней заходила такая милая девушка, что она даже позавидовала ее родителям. Так что свою ошибку невольно ты сама и исправила. И я не могу еще не сказать тебе: так бывало нередко. Ты сама, того не замечая, исправляла свои ошибки.

Натиа, извини меня, если я слишком осмелел.

Прошло больше месяца, как я не видел тебя. Все это время я никогда не забывал: что бы ни случилось, Ната все-таки мой друг и желает мне добра. Знаю, что это в самом деле так. И знал всегда, но написать письмо... вот не знаю даже, как объяснить тебе... не посмел, что ли. Нет, это не то слово. Что-то другое мешало мне, но что именно, мне трудно объяснить...

Натиа! Если письмо мое покажется тебе длинным и скучным, не читай его до конца. А мне столько хочется сказать тебе! Столько у меня новостей! С кем же мне делиться, если не с тобой? Мама может не понять и может даже испугаться. А здесь я пока еще одинок...

Конечно же, я очень рад, что в институте меня помнят, что уважаемый всеми нами Шалва Платонович болеет за меня, но я теперь расскажу тебе все, что было за этот месяц, и ты убедишься, что если даже для меня найдется место в аспирантуре и сюда пришлют приказ о том, что меня зачисляют, я не смогу уйти, потому что это было бы равносильно бегству. И никакая сила не заставит меня сделать это. Соверши я подобное, я навсегда перестал бы уважать самого себя. Передай от меня самый горячий привет и благодарность Шалве Платоновичу и всем, кто меня помнит.

Теперь — о деле. Но только еще раз повторяю, если письмо кажется тебе длинным и скучным, не читай его, но и не выбрасывай, кто знает, может быть, когда-нибудь и дочитаешь.

С первого взгляда в жизни моей ничего особенного не произошло. Я приехал, встретили меня радушно и после недолгого колебания назначили начальником огромного эксплуатационного участка. Колебался вообще-то только управляющий трестом и, насколько я знаю, вовсе не собирался тотчас оказывать мне такое доверие. На эту должность назначил меня начальник шахты. Вот он, мне кажется, ни минуты не колебался. Наоборот, как мне показалось, Сардион Эрастович (он и есть начальник шахты) совершил это мановением руки, словно назло кому-то... хотя был абсолютно уверен в то же время, что мне еще рано работать на этой должности, что я могу еще

наломать дров, и потому вся тяжесть работы ложится на его немолодые, но пока еще довольно крепкие плечи. Но никто не знает, чем все это кончится, в том числе и сам Сардион Эрастович. Все эти мысли я прочел на лице моего начальника.

Поскольку я начал рассказ о Сардионе Эрастовиче, я напишу тебе все, что о нем знаю. Ему, наверное, за шестьдесят, всю жизнь работал на шахте. Трудно найти человека, который, зная его, не испытывал бы к нему чувства уважения. Для других он сил не жалеет, а для себя никогда ничего не попросит. Дома у него, говорят, даже стульев приличных нет, хотя у него такая зарплата, что хоть самолет покупай. Но, во-первых, он помогает сыну, во-вторых, всегда готов прийти на помощь другим.

Но мне он относится по-отечески. Чувствую: пока что он не доверяет мне, проверяет каждый мой шаг, но так, чтоб не обидеть меня. И я делаю вид, что ничего не замечаю. Работаю, в сутки три раза бываю в забоях, даю распоряжения, проверяю, что-то меняю и... жду, «что день грядущий мне готовит...». К счастью, под землей пока что милостиво ко мне.

Теперь — о главном инженере шахты. Кахабер Гурасашвили по облику, манере одеваться, повадкой — истый тбилисец, хотя говор у него — чисто кахетинский. Откуда только, не пойму, ведь в Тбилиси жил уже его дед!.

Меня он, кажется, жалеет. Наверное, тоже думает, что я еще не раз споткнусь. Но, признаться, в отличие от Сардиона, он не очень-то рвется помогать мне, наверное, считает, что до всего я должен дойти своим умом.

Есть здесь пара, которая от меня в неопишемом восторге. Муж — мой заместитель — Антимоз Чахуашвили, а жена его — Мариам комендант общежития, в котором я живу. Она всячески старается создать мне в общежитии уют, но делает это так хлопотно, с такими ахами и охами, что мне ее просто жаль.

Антимоз — единственный на шахте человек, которого шахтеры не любят. Я уже догадываюсь почему. Он хитрый. На все смотрит лишь с точки зрения своей выгоды. Редкий экземпляр. Хвалит меня на всех перекрестках, восторгается каждым моим шагом, но он ошибается, если думает... Одним словом, поживем — увидим.

На шахте у меня один-единственный враг — некий Геронтий Чапичадзе, начальник смены вентиляционного участка, полный невежда, некультурный человек и, как мне кажется, ненадежный. Если бы он не боялся, то, наверное, ночью прикончил бы меня, ей-богу. Правда, в разговоре со мной вежлив и обходителен, так что я даже не имею возможности, вернее, нет у меня повода вызвать его на откровенный разговор, сказать ему, что ведь нам нечего делить.

Вот сейчас, когда я пишу тебе письмо, он дважды входил в комнату. В первый — вошел тихо, поздоровался, но зато во второй раз — громко протопал через всю комнату, почему-то вытащил свой деревянный чемодан и так шмякнул его об пол, что я вздрогнул.

Когда я впервые пришел в общежитие, то застал в комнате Геронтия его пассию, девушку очень красивую, но, как я

узнал потом, с очень плохой славой. Говорят, однажды вызвал ее к себе Сардион Эрастович. О чем они говорили, одному богу известно. Но с тех пор она резко изменилась, и только Геронтию Чапичадзе удалось добиться ее благосклонности. До моего прибытия они могли встречаться в комнате Геронтия, а теперь, поскольку меня туда вселили, я — виновник их бед, встречаться отныне они могут лишь под открытым небом.

Я думаю, именно в этом основная причина, почему Геронтий Чапичадзе так ненавидит меня.

Признаться, мне жаль эту женщину, у которой жизнь не сложилась. Мне кажется, она была бы хорошей матерью, женой, другом... Могла... Но что же помешало ей? Что случилось в жизни такое непоправимое? Что ее связывает с Чапичадзе? Ты не представляешь, Наташа, как красива, умна эта девушка и как отвратителен и мерзок этот тип. А может быть, она любит его?! Тогда что же мешает им пожениться?

Кажется, я слишком разболтался...

Но не могу не сказать, Наташа, что значат для меня шахтеры, простые рабочие. Как часто встречали мы эти слова в наших учебниках, а какое огромное расстояние между всяким учебником и настоящей жизнью! Я успел убедиться в этом.

Был на моем участке комбайнер, красивый, степенный человек, хороший шахтер — Юло Сопромадзе. Жил и работал на участке, пока не появился здесь я, молодой и неопытный инженер. Решил он, видимо, что теперь всего можно ждать, и, недолго думая, махнул на другую шахту, где ему гарантировали высокие заработки.

Есть другой шахтер, которому уже за шестьдесят. Это Герасиме Цнобиладзе. Жизнь у него была не из легких. Но сейчас, когда он может перейти на пенсию и жить спокойно, он и слышать об этом не хочет! Допустим, он привык жить на высокую зарплату, и сто двадцать рублей пенсии его не устраивают. Но ведь он тоже может перейти на другой участок, как это сделал Сопромадзе. Его всюду примут с распростертыми объятиями. Он ведь знает, что молодой и неопытный специалист, вроде меня, может такое натворить, что вовсе оставит своих шахтеров без зарплаты, ибо известно, что на шахте платят зарплату не за ошибки руководителя, а за добытый шахтерами уголь. Так-то вот...

Есть на участке молодой шахтер Иорам Носелидзе, ворчун и сквернослов. Но представь себе, в то же время это очень честный и надежный парень.

Людей на моем участке много — и все разные, хотя на первый взгляд, когда помотришь на них во время работы, они словно все на одно лицо.

Не могу не рассказать тебе о спектакле, разыгранном Сардионом Эрастовичем буквально на второй день после моего приезда. На зрелище это собрались чуть ли не все шахтеры. Одним из действующих лиц был и я, твой покорный слуга, но у меня была роль без слов. Я молча, но не без интереса наблюдал за тем, как ломают копыя противники. Два или три часа я сидел молча, а вокруг меня бушевали страсти. Противники сражались ожесточенно, но жалея себя, однако. Силы были далеко не равные. Один лагерь — сам Сардион, парторг и еще

два-три человека, другой — большинство участников спектакля, шахтеры. Так вот, сторонники первого лагеря утверждали, что начальником третьего эксплуатационного участка должен быть именно я, Теймураз Арджеванидзе, новоиспеченный инженер из Тбилиси. А другой лагерь (ох, Натаи, видела бы ты их лица!) так же категорически заявлял, что пусть новый человек убирается туда, откуда прибыл, а начальником они требуют (ты слышишь, Натаи!) оставить Джибраила Хелтуплишвили. Имя Джибраила, должен сказать тебе, следует за мной как тень отца Гамлета. Наконец, как это нередко случается, меньшинство все-таки взяло верх.

Теперь я могу шутить, но, признаться, дело это далеко не шуточное. И если бы мы сидели сейчас где-нибудь одни и никто бы не слышал нас, я бы рассказал тебе, как нелегко мне было в те дни. Теперь все позади...

Дело в том, Натаи, что Джибраил Хелтуплишвили в самом деле замечательный человек, отличный шахтер. Здесь его любят и ценят как никого другого. А шахтеры, знаешь, такой народ, зря никого любить не будут. Джибраил Хелтуплишвили заслужил эту любовь. Это настоящий рабочий человек, преданный делу всей душой. И надо же, только за то, что у него нет диплома, его по какой-то пустяковой причине снимают с работы. А я (это называется мне повезло!) оказался в этот момент тут как тут. И вот видишь — я на его месте. И не потому вовсе, что заслужил, а просто дело случая, повезло мне. Но если бы ты знала, как мне трудно! Сколько раз я решал, что вот сейчас, сию минуту я все брошу и уеду отсюда...

Но прошло время. Я осмотрелся. Разобрался, что к чему. Шахтеры были против меня не потому, что им я не понравился. Во-первых, старые и опытные шахтеры всегда с подозрением смотрят на таких новичков, как я, которые в жизни своей ничего, кроме книжек, не видели. Во-вторых, им было обидно за их Джибраила, которого незаслуженно, зря обидели и ославили на весь мир. За что его так? Разве он плохо работал? Неужели важен прежде всего диплом? Но здесь, говорят, немалую роль сыграла служба горного надзора... Теперь разве Джибраилу можешь? К тому же, как я уже понял, это гордый и самолюбивый человек. И все уверены, что в сторону нашей шахты он даже не посмотрит.

Одним словом, Натаи, дела мои таковы: я сел за руль машины, налаженной мозолистыми трудовыми руками Джибраила Хелтуплишвили, и еду вперед. Пока что вся эта огромная машина и даже самая незначительная деталь ее работают безупречно. Но ведь каждая машина от времени требует ремонта?! Придет время, и забарахлит она! Вот когда я должен буду показать, на что я годен. Разумеется, мне придут на помощь... И все-таки....

Не думай, что я уже хнычу, что я растерян, нет. Я лишь хочу сказать тебе, что жизнь намного сложнее, нежели это представлялось нам в студенчестве. Помнишь, как часто повторял нам профессор Силагадзе, что «все дело рук человеческих» (кстати, говорят, он сильно болен, это верно?), так вот,

я хочу сказать тебе, что не пожалею сил, чтоб доказать всем, что мы что-то значим.

Одним словом, посмотрим, как все обернется. Хотя, должен сказать тебе, что довольно часто у меня опускаются руки.

Ты очень устала, Натиа? Или уже давно отложила мое письмо в сторону. А я готов говорить с тобой без конца. И как я хочу надеяться, что ты ответишь мне...».

Теймураз долго думал над тем, как завершить письмо. Он не забыл холодный, ничего не выражающий конец письма Натии, где она сухо и официально подписалась — Натиа Авалишвили.

Сначала он решил было написать «твой Теймураз», но тотчас представил себе, как скривит в усмешке губы Натиа. Может быть, написать «жму крепко руку». Нет, это явный провинциализм... Долго еще размышлял Теймураз, наконец решился и подписался так же официально, как Натиа, — «Теймураз Арджеванидзе».

Трудно сказать, надеялся ли Теймураз получить ответ на свое длинное и обстоятельное письмо. Но не прошло и десяти дней, как прибыло ответное послание.

«Здравствуй, Теймураз.

Я благодарна тебе за столь интересное письмо. Я несколько раз перечитала его, и теперь мне кажется, что я очень хорошо знаю всех твоих товарищей по работе и даже этого единственного твоего «врага». Наверное, жизнь у тебя будет насыщенная и интересная. А я так никогда и не рискну покинуть Тбилиси и испытать, как ты, судьбу в другом городе.

Профессор Силагадзе в самом деле серьезно болеет. Это все, что я знаю. Я по-прежнему не работаю. Пиши иногда.

Натиа Авалишвили».

Да, теплом не веяло и от этого письма Натии. Будь счастлив, в Тбилиси у тебя есть знакомая, которая отлично проживет, не видя тебя, — вот какие слова мерещились Теймуразу между строк письма Натии. Несколько дней он все не решился написать ей, наконец собрался с духом и написал несколько строк, в которых сообщал, что никаких новостей в его жизни нет, что он ей еще напишет и надеется на Новый год непременно приехать в Тбилиси.

На это письмо Теймураз ответа не получил.

* * *

Отпуск подходил к концу. И было ясно, что с аттестатом у Джибраила дело не выгорит. Караман Несторович, с которым свел его Ломкация, решительно отказал ему в помощи.

Иринэ и Джибраил почти не разговаривали друг с другом. Джибраил решил, что нельзя уже скрывать свое положение от стариков, ложь всегда вылезет наружу, и тогда уже будет просто стыдно смотреть им в глаза.

Но Иринэ упрямо стояла на своем — нет и нет, не должны старики знать, что его сняли, это позор, не перенесут они этого.

Буквально накануне отъезда Джибраила позвонил Ломкация. Кайхосро был поблизости, он и снял трубку.

— Это ты, Кайхосро? Слушай, я долго не решался звонить. Знаю, что ты в обиде на меня. Но что поделаешь, дорогой Кайхосро, не все получается так, как тебе хочется. Мы, имеретины, народ вспыльчивый, коли не будем уступать друг другу, такое натворим!.. Да... Так вот... Я говорил с Караманом. Вот если бы Джибраил был прописан в Кутаиси, сказал он мне, вопрос решился бы очень просто. Но теперь это невозможно... Он просил позвонить в мае, перед экзаменами в школах. И если ему удастся... Подожди, подожди, не перебивай меня... Знаю, что ты обижен, но подумай, разве я не сделал бы для тебя, для твоей семьи все возможное? Так вот, подождем до весны... Не падай духом, Кайхосро....

Легко сказать, не падать духом... Кайхосро и Дареджан давно уже догадались, что дело не только в аттестате, что у Джибраила с Иринэ гораздо большие неприятности.

В свою очередь и Джибраил с Иринэ видели, что старики все отлично понимают, но пытаются не показывать виду. Все всё знали, но никто ни о чем не говорил. Старики щадили самолюбие молодых, молодые, как им казалось, берегли покой стариков. А в одиночку каждый страдал и мучился. Единственный выход из этого положения был, конечно, в отъезде Джибраила с семьей. По крайней мере, можно было бы вздохнуть, зная, что не выдаешь тем самым свою печаль. А время — хороший делитель. Время все ставит на свои места. Пройдет первая боль и обида, все соберутся и во всем откровенно признаются друг другу. В конце концов, есть ли на этом свете беда, которую не в силах превозмочь человек? Не так страшен черт, как его малюют...

Наступил день отъезда молодых. Веселой и беззаботной была одна только Гогугуна. Старикам нелегко было расставаться с молодыми, а молодым — трудно, ох, как трудно было возвращаться домой. У Иринэ больно сжималось сердце при мысли о том, что совсем еще недавно она была счастлива в этом городе, ходила с гордо поднятой головой, а теперь должна возвращаться туда оскорбленная, обиженная. Кому что скажешь? Как объяснить свой побег в Кутаиси? Боже, сколько еще ей страдать? За что?..

Да и Джибраил чувствовал себя не лучше. Этот шахтерский городок — единственное место на земле, куда он должен был вернуться, и в то же время это был единственный город, возвращение в который было для него равносильно смерти. Бежать-то он бежал в Кутаиси без оглядки, а теперь к кому возвращается? Друзей покинул, к Сардиону даже не заглянул. Кто знает, что думает он о нем? Куда ему податься? Где работать? До каких пор смотреть ему на покрасневшие от слез глаза Иринэ? Будь проклят тот день, когда Сардион вызвал его к себе и назначил начальником участка! Был бы он сейчас самым счастливым человеком, имел бы работу, деньги, и не менее уважали бы его и почитали. Да, падать с высоты положения, конечно, нелепо. Самолюбив человек! От гордости и оскорбленного самолюбия никуда не убежишь!

Поезд из Кутаиси отходил в восемь часов вечера...

«Натя, здравствуй!

На свое последнее письмо я так и не получил от тебя ответа. Но видишь, снова пишу. Можешь думать, что у меня нет самолюбия. Но ведь бывают в жизни моменты, когда о самолюбии не думаешь. К тому же нередко бывает, что письмо не доходит, теряется где-то в пути из столицы в провинциальный городок.

Признаюсь, в юности я удивлялся тому, как могут люди доверять свои переживания дневникам. Я думал, что это совсем не мужское дело. Человек должен иметь друзей, которым он может смело поведать о своих бедах или радостях. Я всегда считал чем-то неестественным, когда доверяются дневникам, вернее, считал это позерством. Но ведь тот, кто ведет дневник, скорее всего беседует с каким-то конкретным человеком, именно с тем, кого считает своим ближайшим другом, не так ли?

А сейчас я должен признаться тебе, что ты читаешь страницы моего дневника. И еще хочу предупредить, что это — мое последнее письмо к тебе...

У меня много новостей. За исключением того, что по-прежнему живу в той же комнате общежития и по-прежнему (если не более!) ненавижу своего соседа. Хотел написать, что и участок мой работает по-прежнему, но... Но это не совсем так... Ты что нч говори, горный инженер, и тебе, наверное, интересно знать, как мы тут работаем...

На нашей шахте было проведено недавно отчетно-перевыборное партийное собрание. Представь себе, что твой конкурент был в центре внимания. Например, говорили о том, что улучшилось дело с квалификацией рабочих на шахте, вот сняли Хелтуплишвили, у которого не было диплома, а на его место назначили молодого специалиста с высшим образованием, и даже с красным дипломом, который сразу же энергично взялся за дело.

На собрании присутствовал первый секретарь горкома Лонгиноз Пейкришвили. В свое время от него здорово досталось нашему секретарю парторганизации Минаго Чарквиани за то, что без его ведома был снят с работы Джибраил. Узнай об этом Пейкришвили вовремя, дело обернулось бы иначе... Все это время Минаго ходил как в воду опущенный, уверенный в том, что на сей раз его не выберут в секретари, во всяком случае, райком его не поддержит. И предчувствие его не подвело. Я очень симпатизирую Минаго, но, признаться, он слишком мягкий человек и не может противостоять, когда на него нападают. А ведь секретарь парторганизации должен уметь отстаивать свое мнение, свой взгляд!..

Собрание было бурное. Все здесь хорошо знают Джибраила, сожалеют о том, что было, но вернуть его, пока, не могут... А вообще на шахте дела идут неплохо. Секретарь горкома сказал много лестных слов в адрес руководителей нашей шахты — вы гордость нашего города, так и сказал! И Минаго он не сильно критиковал, однако заметил, что то, что Минаго Чарквиани назвал повышением уровня квалификации, надо еще проверить временем. Одним словом, вместо бедного Минаго избрали Терентия Чагунава.

Как видишь, моя персона уже оказывает какое-то влияние на биографии людей на шахте. Вообще-то, если кого и надо было наказывать за мое назначение, то прежде всего Сардиона Рачвелишвили. А Минаго мне жаль... Симпатичный человек... Но он руководит инспекцией технического контроля, так что с ним я буду довольно часто встречаться...

Но самое интересное тебе еще предстоит услышать.

Не помню, писал ли я тебе о бригадире монтажников Грише Одыбашеве? Он мастер своего дела, человек приятный, но далеко не бесребреник. Здесь монтажников называют шахтной аристократией. Позавчера вечером кто-то постучался ко мне в дверь. Открываю — Гриша Одыбашев. Одет с иголочки, манеры — самые изысканные. Вошел, сел, предложил мне заграничные сигареты, потом предельно вежливо сказал: «Если вы согласитесь провести вечер с такими простыми людьми, как мы, будем очень рады». Я, конечно, пошел. Монтажники кутили в привокзальном ресторане. Чего только не было на столе, даже форель, икра... Сидеть с ними было приятно — ни одного громкого или лишнего слова, пьют все в меру, компетентно беседуют о спорте, о тенденциях современной моды, о театре, о женщине и ее роли в семье. Одним словом, все эти молодые люди — их было человек пятнадцать — ни в чем не уступали интеллигентной столице. Я был очень доволен вечером. И шел бы домой в прекрасном настроении, но... Почти к завершению трапезы Гриша Одыбашев произнес тост с довольно ясным, понятным для всех подтекстом, из которого я уразумел, что монтажники все-таки — люди необычные, они требуют особого почитания, что же касается их заработков, то здесь дело ясное: немислимо, чтоб монтажник получал меньше того, что необходимо ему для удовлетворения собственных материальных и духовных потребностей. Нет, не надо пугаться, эти требования не столь уж велики, об их требованиях отлично знал прежний начальник участка, человек без диплома, и монтажники, от имени которых сейчас говорит Гриша Одыбашев (легкий кивок головы в знак единодушия), уверены, что новый начальник участка, горный инженер Теймураз Арджеванидзе, не хуже своего предшественника разберется в этом не столь уже сложном вопросе.

После этого тоста у меня так упало настроение, что мне хотелось бежать отсюда. Вот, оказывается, почему меня приглашали! Но мне не понадобилось бежать. После тоста все встали. Меня вежливо проводили до машины, довели до самого общезнания.

Всю ночь я не сомкнул глаз. Как умудрялся Джибраил выплачивать монтажникам высокие зарплаты независимо от того, как работает участок?

И вдруг я, кажется, нашел ответ на этот вопрос (а может быть, я когда-то слышал об этом, и теперь это всплыло в памяти?). Один-два процента выработки следует взять у других шахтеров и приписать монтажникам, иначе монтажники так же вежливо откланяются и перейдут на другой участок, а я лишусь нужных и квалифицированных людей.

Но чем монтажники лучше других? В чем же дело? Кто и когда дал такую волю монтажникам? Почему шахтеры других профессий не требуют особых привилегий?

Весь трагикомизм моего положения в том, что я ни к кому не могу обратиться с этими вопросами. Боюсь, а вдруг эта задача решалась предельно просто и меня поднимут на смех. Как мне быть тогда? Честное слово, если бы я встретил Джибраила, я бы посоветовался с ним. Вот в каком я положении... Знаю одно, что претензии монтажников безосновательны, я не имею права идти у них на поводу. Я не хочу и не буду считаться с их капризами. Пока что я твердо решил это.

Теперь еще один интересный случай. Следуя технологическому паспорту, мы на участке работаем следующим образом: проходим комбайном по всей длине забоя (приблизительно около ста метров), потом другой раз, а затем третий. Как шутят шахтеры, мы снимаем с каменного угля три шкуры. Затем прекращается добыча угля на две смены, за это время обрушивается свод в уже обработанном пространстве. Ты знаешь, какое это опасное дело. Но без этого нельзя. А потом все начинается сначала.

Недавно, когда мы произвели тройную обработку каменного угля, я подал команду прекратить добычу угля и приступить к очередному процессу работы. Тут подходят ко мне шахтеры и говорят: Джибраил, мол, в таких случаях провзрел свод, и если не находил ничего опасного, то они «сдирали и четвертую шкуру» с каменного угля. Ты представляешь? Я спросил Иораму Носелидзе, не боялся этого делать Джибраил?

— Джибраил никогда ни в чем не ошибался! — гордо, даже с каким-то вызовом ответил мой подчиненный.

Что я должен был делать? Ты ведь представляешь, что значит «снять четвертую шкуру». Это — экономия времени, лишний уголь, экономия леса... Но если я ошибусь?.. Если обрушится свод?..

Я решил все-таки посоветоваться с Герасиме Цнобиладзе. Так-то и так-то, сказал я ему, советуют мне «снимать четвертый слой». Видела бы ты, как он разъярился. Накинулся на молодых шахтеров. Ругал их на чем свет стоит за то, что из-за каких-то ничтожных копеек они сбивают человека с пути.

Не знаю, кто рассказал Сардиону об этом случае. Вечером он зашел в дежурку и предупредил меня, чтоб я никогда, ни в в коем случае не нарушал технологического устава. Похвалил за то, что я посоветовался с Герасиме. Я хотел было спросить его о монтажниках, но смолчал. Ничего, в свое время все станет ясным.

Вот мои последние приключения. Ну, как я начинаю карьеру горного инженера? А что ты думаешь делать? Пиши.

Теймураз Арджеванидзе».

«Здравствуй, Теймураз! Как ты поживаешь? Вижу, что находишься в гуще жизни. Думаю, неплохо ты начал карьеру горного инженера. Но и я не хожу без дела. Временно устроилась на должность лаборантки при институте, чем привела в

ярость одну студентку-отличницу, которая метила на это место. Она была уверена, что именно ее оставят на кафедре, а тут я со своим посредственным дипломом заняла принадлежащее ей по праву место. Но представь себе, ее судьба меня вообще не волнует. Ничего, отличники всегда найдут себе место... А так в жизни моей ничего особенного. Пиши.

Натиа Авалишвили».

И в самом деле, в жизни Натии, казалось бы, ничего особенного не произошло.

Хотя, если окинуть мысленным взором все события до написания этого письма, убедимся, что были все-таки события, которые изменили ее судьбу.

Прежде всего, знакомство с Номали Дихаминджия. Со дня отъезда Номали на соревнования, после их недолгого разговора по телефону, к которому Натиа возвращалась вновь и вновь, прошло всего несколько дней. Спортсмены-ватерполисты уже выиграли в Будапеште первую игру... Однажды утром Натиа получила письмо. Распечатав конверт, она обнаружила в нем письмо, составленное из букв, вырезанных из газет. Анонимный автор начинал письмо с того, что он желает ей добра и только потому предупреждает о грозящей ей опасности. Он просил ее не садиться в машину Бесариона Маглаквелидзе и его дружков, никуда не ездить с ними, потому что точно знает — они хотят похитить ее. И еще он просил ее вести себя так, чтоб Бесарион с дружками ничего не заподозрили, иначе, если они узнают, то ему несдобровать.

Натиа ожидала всего, только не этого. Как Бесарион может позволить себе что-то? По отношению к ней, Натии Авалишвили? Но ведь он сам настолько глуп и беспомощен, что не додумался бы до такого. Здесь явно кто-то другой замешан. Но кто? Или же кто автор этого письма? Позавчера вечером Натиа встретила Бесариона с компанией. Они вели себя так, что Натиа и не могла бы представить себе, какие черные мысли гложат их. Они пригласили ее в ресторан, но Натиа отказалась, тогда Бесарион предложил пойти в кино или филармонию. Но Натии в этот вечер хотелось поскорее попасть домой. Бесарион не настаивал, лишь проводил ее до стоянки такси, сам заранее заплатил водителю и распрощался с Натией.

Так неужели они уже тогда задумали свое подлое дело и Натиа просто случайно не попала в их ловушку? А может быть, аноним все это придумал. Может, это всего-навсего чья-то интрига? Но ведь аноним ничего такого не пишет. Даже просит ее не показывать виду, что она что-то знает, лишь предостерегает ее и просит не садиться в машину к Бесариону. Натиа вспомнила, с какой злостью смотрели на Номали Бесарион и его дружки в тот вечер, когда в ресторане она, зная, что оскорбляет Бесариона, все-таки приняла приглашение Номали переест за столик, где спортсмены давали прощальный ужин накануне отъезда на соревнования. Конечно же, Бесарион имеет основания затаить злобу на Натию и мстить... Мстить. Это единственное, на что он способен... Мстить, но опять-таки руками других....

Как же быть теперь?

Натиа легла спать рано, но сон не шел к ней. Она лежала с открытыми глазами в постели и старалась разгадать, кто же мог быть автором анонимного письма. Теперь она уже не сомневалась в том, что тот писал правду. Может быть, это кто-либо из дружков Бесариона? Натиа отлично знает, чего стоит их дружба, там каждый готов подставить другому ножку.

Натиа повернулась на другой бок... Допустим, писал кто-то из компании Бесариона, но кто? Тази Булескирия? Нет, он в этой бражке самый отчаянный, самый дерзкий, самый жестокий. В глубине души он презирает Бесариона. Да и писать тайком не станет. Он не побоится сказать все в лицо не только Натии и Бесариону, но и самому господу богу.

Может быть, Тенгиз Джавелидзе? Нет, И не этот. Во-первых, он ленив и флегматичен, и потом, он настолько ограничен, что во всем подчиняется Бесариону.

Анзор Купатадзе? Ну нет... Правда, Натиа нередко ловила на себе его взгляд — взгляд преданной и верной собачонки. Но он так боится Бесариона и вообще всех и всего на свете, что не рискнет совершить подобное даже во сне.

Мирза Чиракадзе? Хм... Натиа даже удивилась, почему она подумала о Мирзе в последнюю очередь. Утонченный, рафинированный аристократ... В глубине души презирает Бесариона и уверен, что, если дело дойдет до выбора, Натиа предпочтет всем именно его. Но написать анонимное письмо...

Хм!..

И совершенно неожиданно Натиа вдруг поняла, что автором письма является не кто иной, как Мирза Чиракадзе. Он мог сделать это, ибо уверен, что никто никогда не заподозрит его... Так... Значит, Бесарион хочет посмеяться над ней, да? Интересно... Ха-ха-ха...

— Натиа, это ты смеешься? — послышался из соседней комнаты встревоженный голос Нино.

Натиа не ответила.

В соседней комнате скрипнула кровать. Видимо, Нино встала.

Натиа закрыла глаза и замерла.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Окончание следует

«ПОЕЗД «ГРУЗИЯ — СИБИРЬ»

ЭТОТ сборник объединяет два цикла новых стихов Нодара Джалагония — «Горы» и «Ния-Грузинская». В их основу легли впечатления от встреч с молодыми строителями и овцеводами во время пребывания поэта на молодежной стройке БАМа и на Кизлярских зимних пастбищах, где он плечом к плечу работал вместе с ними. Отсюда и тот пафос трудового героизма, которым проникнуты стихи, вошедшие в книгу «Поезд «Грузия—Сибирь», выпущенную в этом году в переводе на русский язык В. Торопыгина издательством «Мерани».

«ПОЭТИЧЕСКИЙ КРАЙ»

В ПОДЗАГОЛОВКЕ названного сборника стоит: «Н. Г. Чернышевский и грузинская общественность». Издан он к 150-летию со дня рождения великого русского революционера и демократа и является четвертым в серии книг о грузинских связях русских писателей, выпускаемой издательством «Мерани». «Поэтическому краю» предшествовали аналогичные сборники, приуроченные к юбилейным датам Пушкина, Лермонтова, Грибоедова. Составителем и автором всех

их является В. С. Шадури. Редактор последнего сборника Р. Н. Николадзе. В «Поэтическом крае» (как и в других изданиях этой серии) наряду с произведениями самого Н. Г. Чернышевского даны статьи, речи, высказывания о нем грузинских писателей, тбилисской прессы, а также комментарии, обзоры и исследование его составителя. Такое разнообразие материала поможет читателю составить более полное представление о грузинских связях одного из замечательных представителей русской литературы XIX столетия.

«СЦЕНА И ЖИЗНЬ»

АВТОР этой книги Алексей Аргун повествует в составивших ее очерках об истории абхазского театра. Но говорить на эту тему, не касаясь творческих биографий выдающихся актеров, драматургов, педагогов—основоположников абхазского театрального искусства, невозможно. Поэтому читатель найдет в сборнике и рассказ о них. В книге дан также анализ ряда спектаклей, поставленных на сухумской сцене за годы существования абхазского советского театра. Сборник очерков А. Аргуна «Сцена и жизнь» (1977) выпущен на русском языке издательством «Хеловнеба».

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

● В КЛУБЕ Союза писателей Грузии прошел вечер, посвященный 80-летию со дня рождения и 55-летию литературно-издательской и общественной деятельности Марка Израилевича Златкина.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абшидзе.

В выступлениях и приветствиях неоднократно подчеркивались большие заслуги старейшего книгоиздателя Грузии в деле перевода на русский язык произведений грузинских писателей, его большой литературный опыт, тонкий вкус, преданность любимому делу и большое творческое горение.

М. Златкин известен и как общественный деятель. Он — член бюро русской секции Союза писателей Грузии, один из основателей журнала «Литературная Грузия» и бессменный член ее редколлегии, а также сборника «Дом под чинарами», печатающего произведения авторов, живущих в Грузии и пишущих на русском языке.

Перу М. И. Златкина принадлежит ряд очерков, статей, обзоров, но особенно значительным следует признать труд «Когда книга сближает народ».

Перед присутствовавшими на вечере выступили заместитель председателя Госкомиздата Грузии Ш. Немсадзе, критик Г. Маргвелашвили, писатель С. Каднашвили, директор Института истории партии при ЦК КП Грузии Д. Стураа, академик АН Грузинской ССР А. Бара-

мидзе, поэт К. Каладзе, председатель Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей республики Ю. Нодия, управляющий делами Совета Министров Грузинской ССР З. Ахвледиани и другие.

В заключение вечера юбиляру сердечно поблагодарил собравшихся за внимание и высокую оценку его деятельности.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ В ГАГРА

● В ДОМЕ творчества в Гагра состоялся большой вечер поэзии и дружбы.

Стало уже доброй традицией ежегодно проводить здесь вечера поэзии и литературы братских республик страны, в которых принимают участие и многочисленные гости из-за рубежа.

Вечер вступительным словом открыл писатель А. Абшлагава. Он рассказал о традиционных литературных взаимосвязях писателей Грузии с представителями многонациональной советской литературы.

Свои стихи прочли Герой Социалистического Труда поэт М. Дудин, народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии СССР К. Кулиев, лауреат Государственной премии им. Ш. Руставели поэт А. Сулакаури. На вечере также выступили Л. Сулаберидзе, С. Нариманидзе, М. Арабули, Г. Шахназар.

Металлурги Запорожья, шахтеры Донецка, нефтяники Тюмени, писатели и литературо-

веды из разных уголков нашей страны выразили большую благодарность за прекрасно проведенный вечер.

ВСТРЕЧИ НА ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

● В ГРУЗИИ гостил известный немецкий переводчик Дитер Померенке.

Гость из ГДР встретился с секретарем правления Союза писателей Грузии Г. Жоржоплиани, заместителем председателя президиума ГОДИКСа А. Жгенти, поэтом М. Пощишвили, старшим научным редактором Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии переводчиком Г. Мачутадзе...

В беседе были затронуты проблемы художественного перевода и развития дальнейших творческих контактов.

Д. Померенке побывал в древней столице Грузии—Мцхе-

га, а также осмотрел достопримечательности Тбилиси.

● ПО ПРИГЛАШЕНИЮ Союза писателей СССР в Грузию побывала делегация писателей из Японии, которую возглавлял редактор издательства «Сэгакукан» Т. Отикава.

В состав делегации также вошли главный редактор издательства «Ивасаки Сетан» М. Коии, редактор иностранного отдела издательства «Кавадесабо Синсэна» Т. Охаси, а также переводчик советской литературы профессор Токийского института иностранных языков Н. Накамото.

Секретарь правления Союза писателей Грузии поэт И. Нонешвили встретился с гостями из Страны восходящего солнца.

Делегация японских писателей осмотрела достопримечательности столицы Грузии, Дворец пионеров и школьников, побывала во Мцхета и Гори, встретилась с трудящимися республики.

Сдано в набор 7 августа 1978 г. Подписано к печати 24 октября 1978 года. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

Заказ № 2242

Тираж 7.000

УЭ 01692

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა